

Библиотека Всемирной Литературы



ТОМАС ВУЛФ

Взгляни на дом свой, ангел



Томас Вулф
Взгляни на дом свой, ангел
Серия «Библиотека всемирной
литературы (Эксмо)»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=23539666

Взгляни на дом свой, ангел : [роман] / Томас Вулф : Эксмо; Москва;

2019

ISBN 978-5-04-098058-1

Аннотация

Крупнейший представитель «потерянного поколения» Томас Вулф (1900–1938) входит в плеяду писателей, сформировавших американскую прозу в 20-30-х годах XX столетия. Современники ставили его в один ряд с Хемингуэем, Фолкнером и Фицджеральдом. Хотя творческая деятельность Вулфа продолжалась всего десятилетие, он оставил яркий след в истории литературы США. Его первый роман «Взгляни на дом свой, ангел» – это не только цепь событий, вплотную следующих за жизненной ситуацией самого автора, но и биография духа, повествующая о бурном «воспитании чувств», о любви и ненависти, о страстной привязанности к родине и бегстве от нее и, наконец, о творческих муках писателя. «Не люди бегут от жизни,

потому что она скучна, а жизнь убегает от людей, потому что они мелки» (*Томас Вулф*).

Содержание

К читателю	6
Часть первая	8
Конец ознакомительного фрагмента.	249

Томас Вулф

Взгляни на дом свой, ангел

Когда-то земля, вероятно, была раскаленным шаром, таким же, как солнце.

Тарр и Макмерри¹

А.Б.

*Поелику Тобой я сищу в раю
(Всегда, везде из чувств моих любое
И живо, и ведомо лишь тобою),
Но раму бренную души мою
Оставил здесь, то мышцы, жилы, кровь
Одеть вернутся кости плотью вновь.*

¹ *Тарр и Макмерри* – авторы школьного учебника географии, изданного в США в 1900 году.

К читателю

Это – первая книга, и автор писал в ней о том, что теперь ушло и утрачено, но когда-то составляло самую ткань его жизни. А потому, если кто-нибудь из читателей назовет эту книгу автобиографической, писателю нечего будет возразить – ведь, по его мнению, все сколько-нибудь серьезные литературные произведения всегда автобиографичны, и трудно вообразить более автобиографичную книгу, чем «Путешествия Гулливера».

Однако это небольшое предисловие обращено главным образом к тем, с кем автор, возможно, был знаком в период, которому посвящены эти страницы. И этим людям он хотел бы сказать то, что они, как ему кажется, уже знают – что книга эта была написана в наготе и невинности духа и что автор думал только о том, как придать достоверность, жизнь и полнокровие действию и персонажам книги, которую он создавал. Теперь, перед ее опубликованием, он решительно утверждает, что книга эта – вымысел и что он не давал в ней портретов живых людей.

Но мы – сумма всех мгновений нашей жизни: все, что есть мы, заключено в них, и ни избежать, ни скрыть этого мы не можем. Если для создания своей книги писатель употребил глину жизни, он только воспользовался тем, чем должны пользоваться все люди, без чего не может обойтись никто.

Художественный вымысел – это не факт, но художественный вымысел – это факты, отобранные и понятые во всей их полноте, художественный вымысел – это факты, переработанные и заряженные целью. Доктор Джонсон² сказал, что человеку приходится перелистать половину библиотеки, чтобы создать одну книгу, и точно так же романист может перелистать половину жителей города, чтобы создать один персонаж в своем романе. Этим не исчерпывается весь метод, но автор полагает, что и этого достаточно, чтобы дать иллюстрацию ко всему методу создания книги, которая написана со среднего расстояния, без злобы и без обидных намерений.

² *Джонсон Сэмюэл* (1709–1784) – английский критик, лексикограф и эссеист.

Часть первая

...камень, лист, ненайденная дверь; о камне, о листе, о двери. И о всех забытых лицах.

Нагие и одинокие приходим мы в изгнание. В темной утробе нашей матери мы не знаем ее лица; из тюрьмы ее плоти выходим мы в невыразимую глухую тюрьму мира.

Кто из нас знал своего брата? Кто из нас заглядывал в сердце своего отца? Кто из нас не заперт навеки в тюрьме? Кто из нас не остается навеки чужим и одиноким?

О тщета утраты в пылающих лабиринтах, затерянный среди горящих звезд на этом истомленном негорящем уголке, затерянный! Немо вспоминая, мы ищем великий забытый язык, утраченную тропу на небеса, камень, лист, ненайденную дверь. Где? Когда?

О утраченный и ветром оплаканный призрак, вернись, вернись!

I

Судьба, которая ведет англичанина к немцам³, уже необычна, но судьба, которая ведет из Эпсома в Пенсильва-

³ ... ведет англичанина к немцам... – в XVII–XVIII веках Пенсильванию заселяли выходцы из юго-западной Германии и из Швейцарии.

нию, а оттуда в горы, укрывающие Алтамонт, ведет через гордый коралловый крик петуха и кроткую каменную улыбку ангела – эта судьба овеена темным чудом случайности, творящей новое волшебство в пыльном мире.

Каждый из нас – итог бесчисленных сложений, которых он не считал: доведите нас вычитанием до наготы и ночи, и вы увидите, как четыре тысячи лет назад на Крите началась любовь, которая кончилась вчера в Техасе.

Семя нашей гибели даст цветы в пустыне, алексин⁴ нашего исцеления растет у горной вершины, и над нашими жизнями тяготеет грязнуха из Джорджии, потому что лондонский карманник избежал виселицы. Каждое мгновение – это плод сорока тысячелетий. Мимолетные дни, жужжа, как мухи, устремляются в небытие, и каждый миг – окно, распахнутое во все времена.

Вот – один такой миг.

Англичанин по имени Гилберт Гонт, или Гант, как он стал называться впоследствии (возможно, это была уступка про изношению янки), приплыв в 1837 году на парусном судне в Балтимор из Бристоля, вскоре опрокинул все прибыли купленного им там трактира в свою беззаботную глотку. Он отправился на запад, в сторону Пенсильвании, добывая рискованное пропитание с помощью боевых петухов, которых выставлял против местных чемпионов, и нередко еле уносил ноги после ночи, проведенной в деревенской кутузке, – его

⁴ *Алексин* – защитное тело в сыворотке крови.

боец валялся мертвым на поле боя, в его карманах не позвякивало ни единого медяка, а на его беспечной физиономии подчас багровел след дюжего кулака какого-нибудь фермера. Но ему всегда удавалось улизнуть, и когда он в дни жатвы добрался до немцев, его так восхитило богатство их края, что он бросил там якорь. Не прошло и года, как он женился на крепкой румяной вдовушке, хозяйке недурной фермы; она, как и остальные немцы, была покорена его видом бывалого путешественника и витиеватой речью – особенно когда он читал монологи Гамлета в манере великого Эдмунда Ки-на⁵. Все говорили, что ему следовало бы пойти в актеры.

Англичанин стал отцом дочери и четырех сыновей, жил весело и беззаботно и терпеливо сносил бремя суровых, но справедливых попреков своей супруги. Шли годы, его ясные, пристальные глаза потускнели, под ними вздулись мешки; теперь высокий англичанин подагрически волочил ноги, и как-то утром, когда жена явилась выбрать его за то, что он, по обыкновению, заспался, она обнаружила, что он умер от апоплексического удара. После него осталось пять детей, закладная на ферму и – в его странных темных глазах, снова ясных и пристально смотрящих вдаль, – что-то, что не умерло: неутолимая и смутная жажда путешествий.

Тут мы оставим этого англичанина с его наследством и теперь будем заниматься тем, кому он его завещал, – его вто-

⁵ Эдмунд Кин (1787–1833) – знаменитый английский трагик, славившийся чрезвычайной экспрессивностью своей игры.

рым сыном, мальчиком по имени Оливер. Было бы слишком долго рассказывать, как этот мальчик стоял у дороги вблизи материнской фермы и провожал взглядом пыльные полки мятежников, уходившие к Геттисбергу⁶, как потемнели его холодные глаза, когда он услышал гордое слово «Виргиния», как в год окончания войны, когда ему еще было пятнадцать лет, он шел по улице в Балтиморе и увидел в маленькой лавке гладкие гранитные плиты смерти, вырезанных из камня агнцев и херувимов и ангела, застывшего на холодных немощных ногах с улыбкой кроткого каменного идиотизма. Но я знаю, что его холодные, неглубокие глаза темнели от той же смутной и неутолимой жажды, которая жила в глазах мертвеца и когда-то вела его с Фенчерч-стрит мимо Филадельфии. Мальчик глядел на большого ангела, сжимающего резной стебель лилии, и им овладевало холодное безымянное волнение. Длинные пальцы его больших рук сжались в кулаки. Он почувствовал, что больше всего на свете хочет ваять. Он хотел вогнать в холодный камень то темное и неназываемое, что жило в нем. Он хотел изваять голову ангела.

Оливер вошел в лавку и спросил у широкоплечего бородача с деревянным молотком в руке, нет ли для него тут работы. Он стал подмастерьем резчика по камню. Он проработал в этом пыльном дворе пять лет. Он стал резчиком по

⁶ *Геттисберг* – Под пенсильванским городом Геттисбергом 1–3 июля 1863 года произошло крупнейшее сражение американской Гражданской войны 1861–1865 годов; северяне нанесли поражение армии генерала Роберта Ли (1807–1870) и остановили продвижение южан на север.

камню. Когда годы его ученичества кончились, он был уже мужчиной.

Он так и не обрел того, чего искал. Он так и не изваял голову ангела. Голубку, агнца, сложенные в покое смерти мраморные руки, и буквы, тонкие и изящные, – все это он умел. Но не ангела. И все годы тщеты и утрат – буйные годы в Балтиморе, годы труда, яростного пьянства и театра Бута⁷ и Сальвини, губительно влиявшего на резчика по камню, который запоминал все переливы благородной декламации и шагал по улицам, бормоча и быстро жестикулируя огромными красноречивыми руками, – все это слепые блуждания на ощупь в нашем изгнании, закрашивание нашей жажды, когда, немо вспоминая, мы ищем великий забытый язык, утерянную тропу на небеса, камень, лист, дверь. Где? Когда?

Он так и не обрел того, чего искал, и, шатаясь, пошел через континент на Реконструируемый Юг⁸ – странная дикая фигура в шесть футов четыре дюйма ростом, холодные, тревожные глаза, широкая лопасть носа, раскаты пышной риторики и нелепое, комическое проклятие, формально-условное, точно классические эпитеты, которые он пускал в ход

⁷ Бут Эдвин (1833–1893) – известный американский актер. Сальвини Томмазо (1829–1916) – знаменитый итальянский трагик, неоднократно гастролировавший в США. Выступал там в «Отелло» вместе с Буттом, который играл Яго.

⁸ Реконструируемый Юг. – После окончания Гражданской войны в США последовал так называемый «период Реконструкции Юга», когда конгресс начал преобразование политического устройства южных штатов. К 1877 году «реконструкция» завершилась практически победой реакционных сил.

совершенно серьезно, хотя в уголках его узкого стонущего рта пряталась неловкая усмешка.

Он открыл мастерскую в Сиднее, маленькой столице одного из штатов среднего Юга, вел трудовую и трезвую жизнь под взыскательными взглядами людей, еще не оправившихся от поражения и ненависти, и, наконец, завоевав себе доброе имя и добившись, что его признали своим, женился на тощей чахоточной старой деве, которая была старше его на десять лет, но сохранила кое-какое состояние и неукротимое желание выйти замуж. Через полтора года он вновь превратился в буйного сумасшедшего, его маленькое дело лопнуло, а Синтия, его жена, продлению жизни которой, как утверждали соседи, он отнюдь не способствовал, как-то ночью внезапно умерла после сильного легочного кровотечения.

Так все снова исчезло – Синтия, мастерская, купленное дорогой ценой трезвости уважение, голова ангела; он бродил по улицам в темноте, выкрикивая пентаметры своего проклятия, обличая обычаи мятежников и их праздную лень; однако, томимый страхом, горем утраты и раскаянием, он съезжился под негодующим взглядом городка; и, по мере того как его огромное тело все больше худело, он проникался убеждением, что болезнь, убившая Синтию, теперь вершит месть над ним.

Ему было немногим больше тридцати, но выглядел он гораздо старше. Лицо его было желтым, щеки запали; восковая лопасть носа походила на клюв. Длинные каштановые усы

свисали прямо и печально.

Чудовищные запои разрушили его здоровье. Он был худ, как жердь, и постоянно кашлял. Теперь в одиночестве враждебного городка он думал о Синтии, и в нем рос страх. Он думал, что у него туберкулез и он скоро умрет.

Вот так, совсем один, опять все потеряв, не утвердившись в мире, не обрета в нем места, утратив почву под ногами, Оливер возобновил свои бесцельные скитания по континенту. Он повернул на запад, к величественной крепости гор, зная, что по ту их сторону его дурная слава никому не известна, и надеясь найти там уединение, новую жизнь и прежнее здоровье.

Глаза тощего призрака снова потемнели, как когда-то в дни его юности.

Весь день Оливер под серым мокрым октябрьским небом ехал на запад через огромный штат. Он уныло глядел в окно на бесконечные просторы дикой земли, лишь кое-где испещренной заплатками крохотных полей крохотных жалких ферм, и его сердце наливалось холодным свинцом. Он вспоминал огромные пенсильванские амбары, клонящееся золото налитых колосьев, изобилие, порядок, чистенькую бережливость тамошних людей. И он вспоминал, как сам отправился в путь, чтобы найти порядок и прочное положение для себя, – и думал о буйной путанице своей жизни, о неясном смешении прожитых лет и о багряной пустыне своей юности.

«Черт побери! – думал он. – Я старею. Почему здесь?»

В его мозгу развертывался угрюмый парад призрачных лет. Внезапно он понял, что его жизнь определил ряд случайностей: сумасшедший мятежник, распевавший об Армагеддоне, звук трубы на дороге, топот армейских мулов, глупое белое лицо ангела в пыльной лавке, зазывное покачивание бедер проходившей мимо проститутки. Он, шатаясь, ушел от тепла и обилия в этот бесплодный край, и пока он смотрел в окно и видел необработанную целину, крутой суровый подъем Пидмонта, размокшую глину рыжих дорог и неопрятных людей на станциях, глазеющих на поезд, – художника фермера, покачивающегося над поводьями, зеваку негра, щербатого парня, хмурую болезненную женщину с чумазым младенцем, – загадочность судьбы поразила его ужасом. Как попал он сюда, как сменил чистенькую немецкую бережливость своей юности на эту огромную, пропащую, рахитичную землю?

Поезд, гроыхая, катил над дымящейся землей. Не переставая шел дождь. В грязный плюшевый вагон вошел со сквозняком кондуктор и высыпал совок угля в большую печку в дальнем углу. Визгливый, бессмысленный смех сотрясал компанию парней, растянувшихся на двух обращенных друг к другу диванчиках. Над клацающими колесами печально позванивал колокол. Потом было долгое жужжащее ожидание на узловой станции вблизи предгорий. Затем поезд снова покатил через огромные волнистые просторы.

Наступили сумерки. Туманно возникла тяжелая громада

гор. В хижинах по склонам загорались тусклые огоньки. Поезд, подрагивая, проползал по высоким виадукам, переброшенным через серебристые тросы воды. Далеко вверху, далеко внизу по обрывам, откосам и склонам лепились игрушечные хижины, увенчанные перышками дыма. Поезд, упорно трудясь, гибко пробирался вверх по рыжим выемкам. Когда совсем стемнело, Оливер сошел в маленьком городке Олд-Стокейд, где рельсы кончались. Прямо над ним вставала последняя великая стена гор. Когда Оливер вышел из унылого станционного здания и уставился на масляный свет лампы в деревенской лавке, он почувствовал, что, словно могучий зверь, заполз в кольцо этих гигантских пиков, чтобы умереть.

На следующее утро он отправился дальше в дилижансе. Он ехал в городок Алтамонт, который лежал в двадцати четырех милях оттуда за гребнем великой внешней стены гор. Пока лошади медленно тащились вверх по горной дороге, Оливер немного воспрянул духом. Был серо-золотой день на исходе октября, ясный и ветренный. Горный воздух покусывал и сверкал; над головой плыл кряж – близкий, колоссальный, чистый и бесплодный. Деревья раскидывали тощие голые ветки – на них уже почти не осталось листьев. Небо переполняли мчащиеся белые клочья облаков, под отрогом медленно плескалась полоса густого тумана.

Прямо внизу по каменистому ложу клубился горный поток, и Оливер разглядел крохотные фигурки людей, прокла-

дывавших дорогу, которой предстояло спиралью обвить гору и подняться к Алтамонту. Затем взмыленная упряжка свернула в ущелье, и среди величественных пиков, растворяющихся в лиловой дымке, они начали медленно спускаться к высокому плато, на котором был построен город Алтамонт.

Среди торжественной извечности этих гор, в обрамлении их гигантской чаши он нашел раскинувшийся на сотне холмов и седловин город с четырьмя тысячами жителей.

Это были новые края. И на сердце у него стало легко.

Город Алтамонт возник вскоре после Войны за независимость. Это была удобная стоянка для погонщиков скота и фермеров на их пути на восток, из Теннесси в Южную Каролину. А в течение нескольких десятилетий перед Гражданской войной туда съезжалась на лето фешенебельная публика из Чарлстона и с плантаций жаркого Юга. К тому времени, когда туда добрался Оливер, Алтамонт приобрел некоторую известность не только как летний курорт, но и как местность, целебная для больных туберкулезом. Несколько богатых северян построили в окрестных горах охотничьи домики; а один из них купил там огромный участок и с помощью армии импортированных архитекторов, плотников и каменщиков намеревался возвести на нем самый большой загородный дом во всей Америке – нечто из известняка с крутыми шиферными крышами и ста восьмьюдесятью тремя комнатами. За образец был взят замок в Блуа. Тогда же была постро-

ена и колоссальная новая гостиница – пышный деревянный сарай, удобно раскинувшийся на вершине холма, с которого открывался прекрасный вид.

Однако население Алтамонта в основном все еще составляли местные жители, и пополнялось оно обитателями гор и близлежащих ферм. Это были горцы шотландско-ирландского происхождения – закаленные, провинциальные, неглупые и трудолюбивые.

У Оливера было около тысячи двухсот долларов – все, что осталось от имущества Синтии. На зиму он снял сарай в дальнем конце главной площади городка, купил несколько кусков мрамора и открыл мастерскую. Однако вначале у него почти не было никакого другого занятия, кроме размышлений о близкой смерти. В течение тяжелой и одинокой зимы, пока он думал, что умирает, тощий, похожий на огородное пугало янки, который, что-то бормоча, мелькал на улицах городка, стал излюбленным предметом пересудов. Все его соседи по пансиону знали, что по ночам он меряет свою спальню шагами запертого зверя и что на его тонких губах непрерывно дрожит тихий долгий стон, словно вырывающийся из самого его нутра. Но он ни с кем об этом не разговаривал.

А потом пришла чудесная горная весна – зелено-золотая, с недолгими порывистыми ветрами, с волшебством и ароматом цветов, с теплыми волнами запаха бальзамической сосны. Тяжкая рана Оливера начала заживать. Вновь зазвучал его голос, порой опять ало вспыхивала его былая алая рито-

рика, возрождалась тень его бывшего жизнелюбия.

Как-то в апреле, когда Оливер, весь пробужденный, стоял перед своей мастерской и следил за суетливой жизнью площади, он услышал позади себя голос какого-то прохожего. И этот голос, глуховатый, тягучий, самодовольный, внезапно осветил картину, которая двадцать лет безжизненно хранилась в его мозгу.

– Он близится! По моим расчетам, быть ему одиннадцатого июня тысяча восемьсот восемьдесят шестого года.

Оливер обернулся и увидел удаляющуюся дюжую и убедительную фигуру пророка, которого он в последний раз видел уходящим по пыльной дороге к Геттисбергу и Армагеддону⁹.

– Кто это? – спросил он у человека, стоявшего неподалеку. Тот посмотрел и ухмыльнулся.

– Это Бахус Пентленд, – сказал он. – Чудак, каких поискать. У него тут полно родни.

Оливер лизнул огромную подушечку большого пальца. Потом с узкогубой усмешкой сказал:

– Армагеддон уже настал, а?

– Он ждет его со дня на день, – ответил его собеседник.

Потом Оливер познакомился с Элизой. Как-то в ясный весенний день он лежал на скользком кожаном диване в сво-

⁹ Армагеддон – предсказанная в «Откровении Иоанна Богослова» решающая битва между силами добра и зла.

ей маленькой конторе и прислушивался к веселому щебету площади. Его крупное разметавшееся тело обволакивал целительный покой. Он думал о черноземных пластах земли, внезапно загорающейся юными огоньками цветов, о пенистой прохладе пива и об облетающих лепестках цветущих слив. Затем он услышал энергичный стук каблучков женщины, проходящей между глыбами мрамора, и поспешно поднялся с дивана. Когда она вошла, он уже почти надел свой отлично вычищенный сюртук из тяжелого черного сукна.

– Знаете ли, – сказала Элиза, поджимая губы с шутивым упреком, – я очень жалею, что я не мужчина и не могу валяться весь день напролет на мягком диване.

– Добрый день, сударыня, – сказал Оливер с изящным поклоном. – Да, – продолжал он, и легкая лукавая усмешка изогнула уголки его узкого рта, – я и правда вздремнул. На самом-то деле я редко когда сплю днем, но последний год мое здоровье совсем расстроилось, и я уже не могу работать, как прежде. – Он умолк, и лицо его сморщилось в выражении унылого отчаяния. – О господи! Прямо не знаю, что со мной будет.

– Пф! – энергично и презрительно сказала Элиза. – На мой взгляд, вы совсем здоровы. Настоящий силач в самом расцвете лет. А это все воображение. Да в половине случаев, когда мы думаем, что больны, – это только воображение, и ничего больше. Я помню, как три года назад я заболела воспалением легких, когда была учительницей в поселке Хо-

мини. Все думали, что мне не выжить, но я все-таки выкарабкалась; вот, помню, сидела я в постели – выздоравливающая, как говорится; а помню я это потому, что старый доктор Флетчер только что ушел, а когда он выходил, я видела, как он покачал головой, глядя на мою двоюродную сестру Салли. «Да как же это, Элиза, – сказала она, едва он вышел, – он говорит, что ты кашляешь кровью: у тебя чахотка, это ясно как день». – «Пф!» – отвечаю я и, помню, рассмеялась, потому что твердо решила считать все это шуткой; а про себя я подумала: не поддамся и всех их еще оставлю в дураках. «Не верю, – говорю я. Она встряхнула головой и поджала губы. – А к тому же, Салли, – говорю я, – все мы когда-нибудь там будем, так что нечего беспокоиться! Это может случиться завтра, а может попозже, да ведь когда-нибудь случится же!»

– О господи! – сказал Оливер, грустно покачивая головой. – Тут вы попали в самую точку. Лучше не скажешь. «Боже милосердный, – подумал он с полной муки внутренней усмешкой. – И долго еще это будет продолжаться? Но она красotka, что верно, то верно».

Он одобрительно оглядел ее подтянутую стройную фигуру, заметил ее молочно-белую кожу, темно-карие глаза, смотревшие как-то по-детски, и иссиня-черные волосы, которые были зачесаны кверху, открывая высокий белый лоб. У нее была странная привычка поджимать губы перед тем, как что-нибудь сказать; она любила говорить неторопливо и переходила к делу только после бесконечных блужданий по

закоулкам памяти и по всей гамме обертонов, с эгоцентрическим наслаждением смакуя золотую процессию всего, что она когда-нибудь говорила, делала, чувствовала, думала, видела или отвечала.

Пока он разглядывал ее, она вдруг умолкла, прижала к подбородку руку, аккуратно затянутую в перчатку, и стала смотреть прямо перед собой, задумчиво поджав губы.

– Ну, – сказала она затем, – если вы заботитесь о своем здоровье и много лежите, вам нужно чем-то занимать свои мысли.

Она открыла кожаный саквояж и достала из него визитную карточку и две толстые книги.

– Меня зовут, – произнесла она внушительно, с неторопливой четкостью, – Элиза Пентленд, и я представляю издательство Ларкина.

Она выговаривала каждое слово важно, с гордым самодовольством.

«Боже милосердный! Она продает книги!» – подумал Гант.

– Мы предлагаем, – сказала Элиза, открывая огромную желтую книгу с прихотливыми виньетками из пик, флагов и лавровых венков, – стихотворный альманах «Жемчужины поэзии для очага и камина», а также сборник Ларкина «Домашний врач, или Книга домашних средств», в котором даны указания о лечении и предупреждении свыше пятисот болезней.

– Ну, – со слабой усмешкой сказал Гант, лизнув большой палец, – тут уж я, наверное, отыщу, какая у меня болезнь.

– Конечно! – ответила Элиза с уверенным кивком. – Как говорится, стихи можете почитать для блага души, а Ларкина – для блага тела.

– Я люблю стихи, – сказал Гант, перелистывая альманах и с интересом задержавшись на разделе, озаглавленном «Песни шпор и сабель». – В детстве я мог по часу декламировать их наизусть.

Он купил обе книги. Элиза убрала в саквояж свои образчики и выпрямилась, обводя внимательным взглядом пыльную маленькую контору.

– Как идет торговля? – спросила она.

– Не очень, – грустно ответил Оливер. – Даже на хлеб не хватает. Я чужак в чужой земле.

– Пф! – весело сказала Элиза. – Просто вам надо почаще выходить из дома и знакомиться с людьми. Вам надо отвлечься и поменьше думать о себе. На вашем месте я бы даром времени не теряла и постаралась внести свою лепту в развитие нашего города. У нас тут есть все, что требуется для большого города, – пейзаж, климат, естественные богатства, и мы все должны работать вместе. Будь у меня две-три тысячи долларов, я бы знала, что делать. – Она деловито ему подмигнула и продолжала, как-то странно, по-мужски, взмахивая рукой, полусжатой в кулак с вытянутым указательным пальцем: – Видите этот угол? Тут, где ваша мастерская? В

ближайшие годы он будет стоять вдвое дороже. Да, будет, — она повторила тот же мужской жест. — Тут когда-нибудь проложат улицу, это ясно как божий день. А тогда, — она задумчиво поджала губы, — эта недвижимая собственность будет стоить больших денег.

Она продолжала говорить о недвижимой собственности со странной задумчивой жадностью. Город был для нее гигантским чертежом, ее голова была набита цифрами и оценками: кому принадлежал участок, кто его продал, продажная цена, реальная стоимость, будущая стоимость, первая и вторая закладные и так далее. Когда она кончила, Оливер, вспоминая Сидней, произнес со жгучим отвращением:

— У меня больше никогда в жизни не будет никакой недвижимости — кроме, конечно, дома. Это страшное проклятие: одни заботы, а в конце концов все заберет сборщик налогов.

Элиза посмотрела на него с испугом, как будто его слова были неслыханным кощунством.

— Послушайте! Так нельзя, — сказала она. — Вы же хотите скопить что-то на черный день, верно?

— Мой черный день уже пришел, — ответил он угрюмо. — И всей недвижимости мне нужно восемь футов земли для могилы.

Потом, сменив мрачный тон на более веселый, он проводил ее до двери мастерской и смотрел, как она чинно шествует через площадь, придерживая юбки с чопорным изяществом. Потом он вернулся к своему мрамору, ощущая в

душе радость, которую уже считал потерянной для себя навеки.

Семейство Пентлендов, к которому принадлежала Элиза, было самым странным из племен, когда-либо спускавшихся с гор. На фамилию Пентленд особых прав у них не было: носивший ее полушотландец-полуангличанин, горный инженер и дед нынешнего главы рода, приехал в горы вскоре после Войны за независимость в поисках меди и провел там несколько лет, прижив нескольких детей с одной переселенкой. Когда он исчез, женщина присвоила себе и своим детям фамилию Пентленд.

Нынешним вождем племени был отец Элизы, брат пророка Бахуса, майор Томас Пентленд. Еще один брат был убит в Семидневной битве¹⁰. Майор Пентленд заслужил свой чин честно, хотя тихо и незаметно. Пока Бахус, который так и не поднялся выше капрала, мозолил жесткие ладони под Шайло, майор в качестве командира двух отрядов местных волонтеров охранял крепость родных гор. Эта крепость не подвергалась ни малейшей опасности до самых последних дней войны, когда волонтеры, укрывшись за подходящими деревьями и скалами, дали три залпа по роте, отставшей от арьер-

¹⁰ *Семидневная битва*. – Под этим названием объединяются сражения, развернувшиеся 25 июня – 1 июля 1862 года в Виргинии между армиями северян и южан. Шайло – местность на юго-западе штата Теннесси, где 6–7 апреля 1862 года произошло большое сражение.

гарда Шермана¹¹, и без шума разошлись по домам защищать своих жен и детей.

Семейство Пентленд было одним из самых старых в округе, но и одним из самых бедных, и не особенно претендовало на аристократизм. Благодаря брачным союзам вне рода, а также внутри него, оно могло похвастать связями с видными семействами, а также наследственным безумием и малой толикой идиотизма. Но, поскольку пентлендцы бесспорно превосходили своих соседей умом и закалкой, они пользовались у них большим уважением.

У клана Пентлендов были свои наследственные черты. Как всегда бывает у богато одаренных натур в чудаковатых семьях, эти фамильные признаки производили тем более внушительное впечатление, чем меньше были похожи их носители друг на друга в остальном. У них были широкие могучие носы с мясистыми, глубоко вырезанными ноздрями, чувственные рты, удивительным образом сочетавшие деликатность с грубостью и поразительно подвижные в минуты задумчивости, широкие умные лбы и плоские, чуть запавшие щеки. Мужчины отличались краснотой лица; как правило, они были плотными, сильными и довольно высокими, однако встречалась в их роду и долговязая худоба.

Майор Томас Пентленд был отцом многочисленного

¹¹ ... *отставший от арьергарда Шермана*... – Шерман Уильям (1820–1891) – один из генералов северян. В 1864 году армия Шермана совершила победоносный поход через южные штаты к морю.

потомства, но из всех его дочерей в живых осталась только Элиза. Ее младшая сестра умерла за несколько лет до описываемых событий от болезни, которую в семье печально называли «золотухой бедняжки Джейн». Сыновей у него было шестеро: старшему, Генри, исполнилось тридцать, Уиллу – двадцать шесть, Джиму – двадцать два, а Тэддесу, Элмеру и Грили – соответственно восемнадцать, пятнадцать и одиннадцать. Элизе было двадцать четыре года.

Детство четверых старших детей – Генри, Уилла, Элизы и Джима – прошло в послевоенные годы. Нищета и лишения этих лет были так страшны, что они никогда о них не упоминали, но злая сталь искромсала их сердца, оставив незаживающие раны.

Эти годы развили в старших детях скаредность, граничившую с душевной болезнью, ненасытную любовь к собственности и желание как можно скорее покинуть дом майора.

– Отец, – сказала Элиза с чопорным достоинством, когда она впервые привела Оливера в гостиную их домика. – Познакомься с мистером Гантом.

Майор Пентленд медленно поднялся с кресла-качалки у камина, закрыл большой нож и положил яблоко, которое чистил, на каминную полку. Бахус благодушно поднял глаза от наполовину обструганной палки, а Уилл оторвался от своих толстых ногтей, которые он, по обыкновению, подрезал, и, подмигнув, приветствовал гостя птичьим кивком. Мужчины в этом доме постоянно развлекались с помощью карманных

ножей.

Майор Пентленд медленно пошел навстречу Ганту. Это был дородный коренастый человек пятидесяти пяти лет, с красным лицом, патриаршей бородой, толстым семейным носом и семейным самодовольством.

– У. О. Гант, не так ли? – произнес он протяжным четким голосом.

– Да, – ответил Оливер. – Именно так.

– Ну, судя по тому, что мне рассказывала Элиза, – сказал майор, подавая сигнал своим слушателям, – я подумал, что вернее было бы так: «Эл. И. Гант».

По комнате прокатился жирный благодушный смех Пентлендов.

– Ой! – вскрикнула Элиза, прикладывая руку к мясистой ноздре своего широкого носа. – Постыдился бы ты, папа! Хоть присягнуть!

Гант изобразил узкими губами фальшиво-веселую улыбку.

«Старый мошенник! – подумал он. – Заготовил эту шуточку неделю назад, не меньше».

– Ну, с Уиллом вы уже знакомы, – продолжала Элиза.

– И знаком мы и словом мы знакомы, – подтвердил Уилл, лихо подмигивая.

Когда они кончили смеяться, Элиза сказала:

– А это, как говорится, дядя Бахус.

– Он самый, сэр, – сказал Бахус, просяив. – В натуральную

величину и вдвое живее.

– Все его называют «Бах-ус», – сказал Уилл, деловито подмигивая, – но у нас в семье мы зовем его «Брит-ус»!

– Полагаю, – внушительно начал майор Пентленд, – вы пишете свою фамилию сокращенно?

– Нет, – ответил Оливер с замороженной усмешкой, решив стерпеть самое худшее. – А почему вы так решили?

– Потому что, – сказал майор, снова обводя взглядом всех присутствующих, – потому что, мне кажется, вы большой гала-нт.

В разгар их смеха дверь отворилась и в гостиную вошли другие члены семьи: мать Элизы – некрасивая изможденная шотландка, Джим – румяный кабанчик, безбородый двойник своего отца, Тэддес – кроткий, румяный, с каштановыми волосами и карими бычьими глазами, и, наконец, Грили, младший – мальчик с вислогубой идиотической улыбкой, постоянно издававший всякие странные звуки, над которыми все они очень смеялись. Это был одиннадцатилетний слабый золотушный дегенерат – но его белые потные руки умели извлекать из скрипки музыку, в которой было что-то неземное и незаученное.

Они все сидели в маленькой жаркой комнате, полной теплого запаха созревающих яблок, а с гор срывались воюющие ветры, вдали гремели обезумевшие сосны и голые сучья бились о голые сучья. И, чистя яблоки, подрезая ногти, обстригая палочки, они от глупых шуток перешли к разговорам

о смерти и похоронах – протяжно и монотонно, со злобной жадностью они обсуждали недавно умерших людей. И под жужжание их беседы Гант слушал призрачные стоны ветра и был погребен в одиночестве и мраке, а его душа низверглась в бездну ночи, ибо он понял, что должен умереть чужаком, что все люди – все, кроме этих торжествующих Пентлендов, для которых смерть лишь пиршество, – должны умереть.

И как человек, гибнущий в полярной ночи, он начал вспоминать зеленые луга своей юности, колосья, цветущую сливу и зреющее зерно. Почему здесь? Утрата, утрата!

II

Оливер женился на Элизе в мае. После свадебного путешествия в Филадельфию они вернулись в дом, который он построил для нее на Вудсон-стрит. Своими огромными руками он закладывал фундамент, рыл в земле глубокие сырые погреба и покрывал высокие стены слоями штукатурки теплого коричневого тона. У него было мало денег, но этот странный дом вырос таким, каким виделся его богатой фантазии. Когда он кончил, то получилось нечто, прислоненное к склону узкого, круто уходящего вверх двора, нечто с высоким парадным крыльцом-верандой и теплыми комнатами, в которые приходилось подниматься или спускаться, как подсказала ему прихоть. Он построил этот дом вблизи тихой крутой улочки; он посадил в чернозем цветы; он выложил

короткую дорожку к ступенькам высокого крыльца большими квадратными плитками разноцветного мрамора; он поставил между своим домом и миром железную решетку.

Затем на прохладной длинной поляне двора, который протянулся за домом на четыреста футов, он посадил деревья и виноградные лозы. И все, чего он касался в этой богатой крепости его души, наливалось золотой жизнью, — с годами яблони, сливы, вишни и персиковые деревья разрослись и низко клонились под грузом плодов. Его виноградные лозы достигли толщины каната, коричневыми петлями оплели проволочные изгороди его участка и густым покровом повисли на его трельяжах, дважды обвившись вокруг его дома. Они взобрались на веранду и заплелись в тенистые беседки вокруг верхних окон. А в его дворе буйно цвели цветы — бархатистые настурции, исполосованные сотней коричнево-золотых оттенков, розы, калина, красные тюльпаны и лилии. Жимолость тяжелым водопадом висела на изгороди. Всюду, где его большие руки касались земли, она плодоносила для него.

Для него этот дом был образом его души, одеянием его воли. Но для Элизы он был недвижимостью, стоимостью которой она определила с глубоким знанием дела, первым вкладом в ее кубышку. Как все старшие дети майора Пентленда, она с двадцати лет начала понемногу приобретать землю — на сбережения от маленького жалованья учительницы и агента книготорговца она уже купила два участка. На одном из них,

возле площади, она уговорила его построить мастерскую. И он ее построил своими руками с помощью двух негров: двухэтажный кирпичный сарай с широкими деревянными ступенями, спускающимися к площади от мраморного крыльца. На крыльце по сторонам деревянной двери он поставил мраморные фигуры; у самой двери он поместил тяжеловесного сладко улыбающегося ангела.

Но Элизу не удовлетворяло его ремесло – смерть не была выгодным помещением капитала. По ее мнению, люди умирали слишком неторопливо. И она предвидела, что ее брат Уилл, который в пятнадцать лет начал работать подручным на лесопильне, а теперь уже имел собственное маленькое дело, в конце концов разбогатеет. Поэтому она убедила Ганта стать компаньоном Уилла Пентленда, однако к концу года его терпение лопнуло, истомившийся эгоизм вырвался из пут, и он возопил, что Уилл, который в рабочие часы либо что-то вычислял огрызком карандаша на грязном конверте, либо задумчиво подрезал свои толстые ногти, либо без конца каламбурил, подмигивая и по-птичьи кивая, кончит тем, что всех их разорит. Тогда Уилл спокойно выкупил долю своего компаньона и продолжал идти к богатству, а Оливер вернулся к своему уединению и чумазым ангелам.

Непонятная фигура Оливера Ганта отбрасывала свою знаменитую тень на весь город. По вечерам и по утрам люди слышали, как его проклятие обрушивается на Элизу. Они видели, как он стремительно идет в мастерскую и стреми-

тельно возвращается домой, они видели, как он сгибается над своим мрамором, они видели, как он творит огромными ручищами – с проклятиями и воплями, со страстным упорством – богатую ткань своего жилья. Они смеялись над буйным избытком его слов, чувств и жестов. Они смолкали перед маниакальным бешенством его запоев, которые случались регулярно каждые два месяца и длились два-три дня. Они поднимали его – грязного и обеспамятевшего – с булыжника и относили домой: банкир, полицейский и дюжий преданный швейцарец по имени Жаннадо, чумазый ювелир, который снимал небольшое огороженное пространство среди могильных памятников Ганта. И они всегда несли его с заботливой осторожностью, чувствуя, что в этих пьяных развалинах Вавилона погибло что-то необычное, гордое и великолепное. Он был для них чужаком: никто никогда не называл его по имени, – даже Элиза. Он был – и остался навсегда – «мистером» Гантом.

А что терпела Элиза в муке, страхе и радости, не знал никто. Он обдавал их всех жарким львиным дыханием алчбы и ярости, – когда он бывал пьян, ее белое лицо с поджатыми губами и медленные осьминожки переходы ее настроения доводили его до багрового безумия. В такие минуты ей грозила настоящая опасность, и она должна была запираться от него. Ибо с самого начала между ними – более глубокая, чем любовь и ненависть, глубокая, как самый костяк жизни, – шла глухая и беспощадная война. Элиза плакала или

молча выслушивала его проклятье, коротко огрызалась на его риторику, поддавалась его натиску, как пуховая подушка, и медленно, неумолимо добивалась своего. Год за годом, вопреки его протестующим воплям, они – он не понимал, как и почему – приобретали маленькие кусочки земли, платили ненавистные налоги и вкладывали оставшиеся деньги в новые участки. Попирая в себе жену, попирая в себе мать, женщина-собственница, которая во всем была подобна мужчинам, медленно шла вперед.

За одиннадцать лет она родила ему девять детей, из которых в живых осталось шестеро. Старшая девочка умерла на двенадцатом месяце от холеры, еще двое родились мертвыми. Остальные, выброшенные в мир так же угрюмо и раздраженно, выдержали эту встречу с жизнью. Старший мальчик родился в 1885 году. Ему дали имя Стив. Через пятнадцать месяцев после него родилась девочка – Дейзи. Через три года родилась еще девочка – Хелен. Затем в 1892 году родились близнецы-мальчики, которых Гант, всегда имевший вкус к политике, назвал Гровером Кливлендом¹² и Бенджамином Гаррисоном. И наконец, два года спустя, в 1894 году, родился Люк.

Дважды на протяжении этого времени с промежутком в

¹² *Гровер Кливленд* (1837–1908) – президент Соединенных Штатов в 1885–1889 и 1893–1897 годах. *Бенджамен Гаррисон* (1833–1901) – президент Соединенных Штатов в 1889–1893 годах. Гаррисон был кандидатом республиканской партии, а Кливленд – демократической, но в 1885 году его кандидатуру поддерживала и часть республиканцев.

пять лет периодические короткие запои Ганта удлинялись в непрерывное пьянство, продолжавшееся неделями. Он то-нул, захлестнутый волнами своей жажды. Оба раза Элиза отсылала его лечиться от алкоголизма в Ричмонд. Однажды Элиза и четверо детей одновременно заболели тифом. Но когда наступило медленное, томительное выздоровление, она угрюмо поджала губы и увезла их всех во Флориду.

Элиза упорно шла через все это к победе. Пока она шагала по этим необъятным годам любви и потерь, расцвеченным пышными красками боли, гордости, смерти и ослепительным диким блеском его чужой и страстной жизни, ее ноги подкашивались, но она продолжала идти вперед через болезни и истощение к торжествующей силе. Она знала, что в этом было великолепие: хотя он часто бывал бесчувственным и жестоким, она помнила буйные пульсирующие цвета его жизни и то, утраченное в нем, чего ему никогда не будет дано найти. И в ней поднимался страх и безъязыкая жалость, когда по временам она видела, как маленькие беспокойные глаза вдруг замирают и темнеют от обманутой неутоленной жажды. Утрата, утрата!

III

В великой процессии лет, на протяжении которых слагалась история Гантов, немногие годы были так обременены болью, ужасом и несчастьями и ни один год не оказался

настолько чреват решающими событиями, как тот, который ознаменовал начало двадцатого века. Ганту и его жене год тысяча девятисотый, в котором они в один прекрасный день оказались, достигнув зрелости в другом столетии (переход, который повсюду должен был вызвать недолгую, но пронзительную тоску у тысяч людей, наделенных воображением), принес ряд совпадений с другими рубежами их жизни, совпадений слишком поразительных, чтобы их можно было не заметить.

В этом году Гант встретил свой пятидесятый день рождения – он знал, что был вдвое моложе умершего века, и знал, что люди редко живут столь же долго, как река. И в этом же году Элиза, беременная последним ребенком, которого ей суждено было иметь, взяла последний барьер ужаса и отчаяния и в щедрой темноте летней ночи, распластавшись на постели и сложив руки на вздутом животе, начала планировать свою жизнь на те годы, когда ей уже не будет грозить новое материнство.

И над разверзающейся пропастью, на противоположных сторонах которой покоились основания их отдельных жизней, она начала готовиться к будущему с тем бесконечным спокойствием, с безграничным терпением, которое позволяет половину жизненного срока ожидать чего-то, о чем предупреждает не трезвая уверенность, а лишь пророческий смутный инстинкт. Эта ее черта, эта почти буддийская безмятежность, которую она не могла ни подавить, ни спрятать,

ибо тут дело шло об основе основ ее существования, была чертой, менее всего ему понятной и разъярявшей его больше всего. Ему исполнилось пятьдесят лет, он трагически ощущал ход времени, он видел, что страстная полнота его жизни начинает идти на ущерб, и бросался из стороны в сторону, ища жертвы, как лишенный разума разъяренный зверь. Возможно, у нее было больше оснований для спокойствия, чем у него: она с самого жестокого начала своей жизни шла через болезни, физическую слабость, бедность, постоянную угрозу смерти и нищеты – она потеряла своего первого ребенка и благополучно провела остальных через каждую новую беду; и вот теперь, в сорок два года, когда у нее под сердцем шевелился ее последний ребенок, она почувствовала убеждение – подкрепленное ее шотландской суеверностью и слепым тщеславием ее семьи, которая верила в небытие для других, но не для себя, – что она предназначена для какой-то высокой цели.

И, лежа в кровати, она заметила в западной части неба пылающую звезду, которая как будто медленно поднималась по небосводу. Хотя она не могла бы сказать, к какой вершине движется ее жизнь, она увидела в грядущем неведомую прежде свободу, силу, власть и богатство, стремление к которым неугасимо жило в ее крови. И, думая обо всем этом в ночном мраке, она поджала губы с задумчивым удовлетворением, без тени усмешки представляя, как будет трудиться на карнавале, легко отбирая у веселого легкомыслия то, что

оно никогда не умело сохранить.

«Я добьюсь! – думала она. – Я добьюсь! Уилл добился. Джим добился. А я умнее их обоих».

И с сожалением, окрашенным болью и горечью, она начала думать о Ганте:

«Пф! Если бы я не стояла у него над душой, у него теперь не было бы ничего своего. За ту малость, которая у нас есть, мне приходилось драться; у нас и своей крыши над головой не было бы; мы доживали бы жизнь в арендованном доме». Для нее это было пределом падения, ожидающего тех транжир, которые не умеют беречь и копить.

Она продолжала думать:

«На деньги, которые он каждый год выбрасывает на выпивку, можно было бы купить хороший участок – мы были бы теперь состоятельными людьми, если бы занялись этим с самого начала. Но ему всегда была противна всякая мысль о том, чтобы что-то иметь, – с тех самых пор, сказал он мне однажды, как он потерял все свои деньги, когда вложил их в эту мастерскую в Сиднее. Если бы я была там, то – хоть последний доллар поставьте! – обошлось бы без убытков. Разве что их понесла бы другая сторона», – добавила она мрачно.

И, лежа в своей постели, пока ветры ранней осени проносились по южным горам, крутили в черном воздухе сухие листья и заставляли глухо гудеть огромные сосны, она думала о чужаке, который поселился в ней, и о том, другом чужаке, причине стольких страданий, который прожил с ней

без малого двадцать лет. И, думая о Ганте, она вновь ощутила изначальное болезненное удивление при воспоминании о яростном раздоре между ними и о скрытой под этим раздором великой тайной борьбе, опирающейся на ненависть к собственности и на любовь к ней; в своей победе она не сомневалась, но чувствовала растерянность и недоумение.

– Хоть присягнуть! – шептала она. – Хоть присягнуть! В жизни не видела другого такого человека.

Гант, столкнувшись с неизбежностью потери чувственных радостей, понимая, что приблизилось время, когда ему придется обуздать свои раблезианские эксцессы в еде, питье и любви, не видел, что могло бы возместить ему утрату плотских удовольствий; кроме того, он испытывал муки сожаления, чувствуя, что попусту растрачивал силы и упускал возможности – не захотел, например, остаться компаньоном Уилла Пентленда, что принесло бы ему положение в обществе и богатство. Он знал, что кончилось столетие, в котором прошла лучшая часть его жизни; он больше, чем когда-либо, ощущал всю непонятность и одиночество нашего недолгого пребывания на земле – он думал о своем детстве на немецкой ферме, о днях в Балтиморе, о бесцельном блуждании по континенту, о том, что вся его жизнь пугающе зависела от ряда случайностей. Безмерная трагедия случайности серой тучей нависала над его жизнью. Яснее, чем когда-либо прежде, он видел, что он – чужак в чужом краю, среди людей, которые всегда будут ему чужими. А самым странным,

думал он, был этот брачный союз, в котором он стал отцом, создал зависящие от него жизни – с женщиной, такой далекой от всего, что он понимал.

Он не знал, знаменует ли для него год тысяча девятисотый начало или конец, но с обычным слабоволием сенсуалиста решил сделать его концом, чтобы догорающее пламя, вспыхнув, рассыпалось гаснущими искрами. В первой половине месяца января, все еще верный новогоднему раскаянию, он сотворил ребенка; к весне, когда стало очевидно, что Элиза опять беременна, он устроил запой, перед которым поблекли даже достопамятные четыре месяца непрерывного пьянства 1896 года. День за днем он напивался до потери рассудка, пока не впал в безумие. В мае Элиза опять послала его в санаторий в Пидмонте для «лечения», состоявшего в том, что его в течение шести недель кормили самой простой пищей и оберегали от алкоголя, – режим, который распалял не только его аппетит, но и жажду. К концу июня он вернулся домой, внешне образумившийся, но внутри – пылающая топка. Накануне его возвращения Элиза, чья беременность была уже очевидна для всех, со спокойным самодовольством на белом лице, не думая об усталости, обошла все четырнадцать питейных заведений города – обращаясь к хозяину или к буфетчику за стойкой, она говорила громко и внятно, так, что ее слышали все подвыпившие посетители:

– Послушайте-ка, я зашла сказать вам, что мистер Гант возвращается завтра, и я хочу, чтобы все вы знали одно: если

я услышу, что кто-нибудь из вас налил ему хоть рюмку, я засажу вас в тюрьму.

Они понимали нелепость такой угрозы, но белое властное лицо, задумчиво поджимаемые губы и правая рука, которую она, как мужчина, небрежно сжимала в кулак, вытянув указательный палец и подчеркивая свои слова спокойным, но почему-то внушительным жестом, оледенили их таким ужасом, какого не могли бы вызвать самые яростные крики. Они выслушивали ее заявление в пивном отупении и в лучшем случае растерянно бормотали слова согласия.

– Ей-богу, – сказал какой-то горец, посылая коричневый неточный плевок в сторону плевательницы, – она на своемстоит. Бой-баба.

– У, черт! – воскликнул Тим О’Доннел, шутовски выставляя над стойкой свою обезьянью физиономию. – Да теперь У. О. не получит от меня ни капли, хоть бы цена была пятнадцать центов кварта и мы с ним остались с глазу на глаз в сортире. Ушла она?

Раздался оглушительный алкогольный хохот.

– Да кто это? – спросил один посетитель.

– Сестра Уилла Пентленда.

– Ну, так она, черт побери, своего добьется, – воскликнуло несколько голосов, и зал снова содрогнулся от хохота.

У Логрена Элиза застала Уилла Пентленда. Она не поздоровалась с ним. Когда она ушла, он повернулся к соседу и сказал, предварив слова птичьим кивком и подмигиванием:

– Бьюсь об заклад, вам этого не сделать.

Когда Гант вернулся и в баре ему публично отказали в праве выпить, он совсем обезумел от ярости и унижения. Конечно, достать виски ему было совсем нетрудно: стоило послать за ним ломовика со ступенек его мастерской или какого-нибудь негра. Но, хотя его привычки были известны всему городу и, как он прекрасно знал, давно стали местной легендой, его ранил каждый случай, который показывал, на что он способен; год от году он не только не свыкался с этим, а, наоборот, становился все уязвимее, и его стыд, его болезненное смущение на утро после запоя, рожденные исполосованной гордостью и истерзанными нервами, были так мучительны, что на него было жалко смотреть. Его особенно задело, что Элиза со злобным расчетом опозорила его публично, – вернувшись домой, он набросился на нее с обличениями и руганью.

Все лето Элиза с белым зловещим спокойствием шла через ужас – к этому времени она пристрастилась к нему и с жуткой невозмутимостью ждала еженощного возвращения страха. Злясь на ее беременность, Гант зачастил в заведение Элизабет в Орлином тупике, откуда измученные и перепуганные проститутки выводили его поздно вечером и поручали заботам Стива, его старшего сына, который уже научился обходиться с женщинами этого квартала развязно и фамильярно, а они всегда готовы были добродушно и грубовато приласкать его, весело смеялись его бойким двусмыслен-

ностям и даже позволяли ему отвечать им полновесные шлепки – после чего он ловко увертывался от угрожающе занесенной ладони.

– Сынок, – говорила Элизабет, энергично встряхивая бесильно болтающуюся голову Ганта, – вот вырастешь, так не бери примера с этого старого кочета. Он, правда, очень милый старичок, когда возьмет себя в руки, – добавила она, целуя его в плешь и ловко всовывая в руку мальчика бумажник, который Гант подарил ей в приливе щедрости. Она отличалась щепетильной честностью.

В этих случаях мальчика обычно сопровождали Жанна-до и Том Флэк, негр-извозчик, которые терпеливо ждали перед решетчатой дверью заведения, пока нараставший внутри шум не извещал, что Ганта наконец уговорили уйти. И он уходил, либо неуклюже сопротивляясь и осыпая красочными ругательствами тех, кто виновато и уважительно тащил его к дверям, либо охотно, во всю глотку распевая непристойную песню своей юности – перед закрытыми ставнями тупика и дальше по затихшим в час ужина улицам:

По чуланчикам, чуланам,
Где клопы и блохи!
Эх, ребята, жалко вас,
Дела ваши плохи!

Дома его уговаривали подняться на высокое крыльцо-веранду, упрашивали лечь в постель; а иногда вопреки всем

увещеваниям он бросался искать жену, которая обыкновенно запиралась у себя в спальне, выкрикивал оскорбительные слова и обвинения в неверности, потому что в нем гнездились черное подозрение, плод его возраста, его угасающей силы. Робкая Дейзи, побелев от ужаса, убегала в соседские объятия Сюзи Айзекс или к Таркинтонам, а десятилетняя Хелен, уже тогда его любовь и радость, укрощала его, кормила его с ложки горячим супом и больно била маленькой детской рукой, когда он упирался.

– А ну, ешь! А не то!..

Ему это чрезвычайно нравилось – они оба были подвешены на одних нитках.

Иногда же с ним не было никакого сладу. В буйном безумии он разжигал камин в гостиной и заливал пляшущее пламя керосином; ликуя, плевал в ревущую стену огня и выкрикивал, пока не срывал голос, кощунственный гимн – несколько однообразных нот, которые он повторял и повторял иногда по сорок минут кряду:

А-а-а! В бога мать,

В бога мать!

А-а-а! В бога мать,

В бога мать!

Обычно он пел это в том ритме, в каком бьют часы.

А снаружи, обезьянами повиснув на прутьях решетки, Сэнди и Фергюс Данкены, Сет Таркинтон – а иногда к при-

ателям присоединялись также Бен и Гровер – ликующе пели в ответ:

Старый Гант
В стельку пьян!
Старый Гант
В стельку пьян!

Дейзи под защитой соседских стен плакала от стыда и страха. Но Хелен, маленькая разъяренная фурия, не отступала, и в конце концов он опускался в кресло и с довольной усмешкой глотал горячий суп и жгучие пощечины. Элиза лежала наверху, настороженная, с белым лицом.

Так промелькнуло лето. Последние гроздья винограда сохли и гнили на лозах; вдали ревел ветер; кончился сентябрь.

Как-то вечером сухой доктор Кардыак сказал:

– Думаю, завтра к вечеру все будет позади.

Он ушел, оставив с Элизой пожилую деревенскую женщину. Она была грубой и умелой сиделкой.

В восемь часов Гант вернулся домой сам. Стив не уходил, чтобы быть под рукой в случае, если понадобится бежать за доктором – на некоторое время хозяин дома отодвинулся на второй план.

Внизу его мощный голос ревел непристойности, разносясь по всей округе; когда Элиза услышала в трубе внезапный вой пламени, сотрясший дом, она подозвала к себе Сти-

ва.

– Сынок, он нас всех сожжет! – напряженно прошептала она.

Они услышали, как внизу тяжело упало кресло, как он выругался; услышали его тяжелые петляющие шаги в столовой, потом в передней; услышали скрипенье лестничных перил, на которые наваливалось его непослушное тело.

– Он идет! – прошептала она. – Он идет! Запри дверь, сынок!

Мальчик запер дверь.

– Ты тут? – взревел Гант, колотя по непрочной двери огромным кулаком. – Мисс Элиза, вы тут? – выкрикнул он иронически почтительное обращение, которое пускал в ход в подобные минуты.

И он разразился монологом, громоздя кощунственные ругательства и обвинения:

– Мнил ли я, – начал он, немедленно впадая в нелепую напыщенность, полубешеную-полушутовскую, – мнил ли я в тот день, когда впервые увидел ее восемнадцать горьких лет назад, когда она, извиваясь, выскочила на меня из-за угла, как змея на брюхе (излюбленная метафора, которая от частых повторений стала для него целительным бальзамом) – мнил ли я, что... что... что это приведет вот к этому, – закончил он неуклюже.

Затаившись в тяжелой тишине, он ждал какого-нибудь ответа, зная, что там, за дверью, она лежит с белым спокойным

лицом, и его душила извечная дикая ярость, так как он знал, что она не ответит.

– Ты тут? Я спрашиваю, ты тут? – зарычал он, выбивая свирепую дробь костяшками пальцев и почти обдирая их в кровь.

Ничего, кроме белого дышащего молчания.

– О-ох! – вздохнул он, преисполняясь жалости к себе, и разразился вымученными захлебывающимися рыданиями, которые служили аккомпанементом к его обличениям.

– Боже милосердный! – рыдал он. – Это страшно, это ужасно, это жесто-око! Что я сделал, чтобы бог так наказывал меня на старости лет?

Тишина.

– Синтия! Синтия! – возопил он внезапно, обращаясь к тени своей первой жены, тощей чахоточной старой девы, продлению жизни которой, как говорили, его поведение отнюдь не способствовало, но к которой он теперь любил взывать, понимая, насколько это ранит и сердит Элизу. – Синтия! О Синтия! Взгляни на меня в час моей нужды! Помоги мне! Спаси меня! Охрани меня от этого исчадия ада!

И он продолжал тягостную комедию рыданий и всхлипываний:

– У-у-о-о-хо-хо! Сойди на землю, спаси меня, прошу тебя, взываю к тебе, умоляю тебя – или я погибну!

Ответом было молчание.

– Неблагодарность, зверя лютого лютей, – продолжал

Гант, сворачивая на другой путь, изобилующий перепутанными и изуродованными цитатами. – Тебя постигнет кара, и это так же верно, как то, что в небесах есть справедливый бог. Вас всех постигнет кара. Пинайте старика, бейте его, вышвырните на улицу – он больше ни на что не годен. Он больше не может обеспечивать семью – так в овраг его, в богадельню. Там самое ему место. Тащи его тело¹³, едва охладело. Чти отца твоего, да долголетен будеши. О господи!

Смотрите! След кинжала – это Кассий;
Сюда удар нанес завистник Каска.
А вот сюда любимый Брут разил;
Когда ж извлек он свой кинжал проклятый,
То вслед за ним кровь Цезаря метнулась.¹⁴

– Джими, – сказала в эту минуту миссис Данкен своему мужу. – Пошел бы ты туда. Опять он расходился, а она-то на сносях.

Шотландец отодвинул свой стул, внезапно оторванный от привычного распорядка жизни и теплого запаха пекущегося хлеба.

У ворот Ганта он встретил терпеливого Жаннадо, за кото-

¹³ *Тащи его тело...* – цитата из стихотворения Томаса Ноэла (1799–1861) «Поездка нищего».

¹⁴ Отрывок из монолога, который произносит Марк Антоний над трупом Юлия Цезаря в трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» (акт III, сцена 2). Здесь и далее Шекспир цитируется по Полному собранию сочинений. «Искусство», 1958 г.

рым сбегал Бен. Деловито поздоровавшись, они бросились на крыльцо, потому что из дома донесся грохот и женский крик. Дверь им открыла Элиза в ночной рубашке.

– Скорее, – прошептала она. – Скорее!

– Разрази меня бог, я ее убью! – вопил Гант, скатываясь по лестнице с опасностью в основном для собственной жизни. – Я ее убью и положу конец моим горестям!

В руке он сжимал тяжелую кочергу. Мужчины схватили его, и дюжий ювелир уверенно и спокойно отобрал у него кочергу.

– Он расшиб лоб о спинку кровати, мама, – сказал Стив, спускаясь по лестнице. Голова Ганта действительно была в крови.

– Сходи за дядей Уиллом, сынок. Быстрее!

Стив умчался, как борзая.

– По-моему, на этот раз он в самом деле хотел... – прошептала она.

Данкен захлопнул дверь – у ворот, вытягивая шею, толпились соседи.

– Вы эдак простудитесь, миссис Гант.

– Не пускайте его ко мне! Не пускайте! – крикнула она.

– Будьте спокойны, – ответил шотландец.

Она начала подниматься по лестнице, но на второй ступеньке тяжело осела на колени. Сиделка, появившаяся из ванной, где она заперлась, бросилась к ней на помощь. Поддерживаемая сиделкой и Гровером, она с трудом поднялась

по лестнице. Снаружи Бен ловко прыгнул с невысокого карниза на клумбу лилий, и Сет Таркinton, висевший на решетке, приветствовал его веселым криком.

Гант, ошалеv, покорно пошел со своими стражами; он ослабленно рухнул в качалку, и они его раздели. Хелен уже давно возилась на кухне и теперь появилась с горячим супом.

При виде ее мертвые глаза Ганта ожили.

– А, деточка! – взревел он, плачевно разводя огромными руками. – Как живешь?

Она поставила тарелку, и он притиснул ее худенькое тельце к своей груди, щекоча ей щеку и шею жесткими усами, обдавая ее вонючим перегаром.

– Он поранился! – Маленькая девочка почувствовала, что вот-вот заплачет.

– Посмотри, что они со мной сделали, деточка! – Он указал на свою рану и захныкал.

Вошел Уилл Пентленд, истинный сын клана, члены которого никогда не забывали друг про друга и видели друг друга только в дни смерти, мора и ужаса.

– Добрый вечер, мистер Пентленд, – сказал Данкен.

– Да, не очень злой, – ответил Уилл со своим птичьим кивком и подмигиванием, добродушно адресуясь к ним обоим. Он встал перед топящимся камином, задумчиво подрезая толстые ногти тупым ножом. Он всегда подрезал ногти, когда бывал на людях: ведь невозможно догадаться о мыслях человека, который подрезает ногти.

При виде него Гант мгновенно очнулся от летаргии – он вспомнил, как перестал быть его компаньоном. Знакомая поза Уилла Пентленда у камина вызвала в его памяти все приметы этого клана, которые внушали ему такое отвращение: развязное самодовольство, непрерывное острословие, жизненный успех.

– Горные свиньи! – взревел он. – Горные свиньи! Низшие из низших! Гнуснейшие из гнусных!

– Мистер Гант! Мистер Гант! – умоляюще сказал Жаннадо.

– Что с тобой, У. О.? – спросил Уилл Пентленд, как ни в чем не бывало поднимая взгляд от ногтей. – Объялся чего-нибудь не ко времени? – Он развязно подмигнул Данкену и снова занялся ногтями.

– Твоего подлого старикашку отца, – завопил Гант, – отодрали кнутом на площади за неплатеж долгов!

Это оскорбление было чистейшим плодом воображения, но в сознании Ганта оно, тем не менее, укоренилось, как святая истина, подобно многим другим словечкам и фразам, ибо позволяло ему немножко спустить пары бешенства.

– Отодрали кнутом на площади, да неужто? – Уилл снова подмигнул, не устояв перед соблазном. – А они ловко это от всех скрыли, верно? – Но за сугубым добродушием лица его глаза были злыми. Он продолжал подрезать ногти, задумчиво поджав губы.

– Но я тебе про него кое-что скажу, У. О., – продолжал он

через мгновение со спокойной, но зловещей неторопливостью. – Он позволил своей жене умереть естественной смертью в ее постели. Он не пробовал ее убить.

– Конечно, черт подери! – возразил Гант. – Он просто уморил ее голодом. Если старухе когда-нибудь доводилось поесть досыта, то только в моем доме. Уж одно вернее верного: она успела бы дважды сходить в ад и обратно, прежде чем Том Пентленд или кто-нибудь из его сыновей дал бы ей хоть черствую корку.

Уилл Пентленд сложил свой тупой нож и спрятал его в карман.

– Старый майор Пентленд за всю свою жизнь и дня не потрудился честно! – взревел Гант, которого осенила новая счастливая мысль.

– Ну послушайте, мистер Гант! – с упреком сказал Данкен.

– Шш! Шшш! – яростно зашипела девочка, становясь перед ним с миской. Она поднесла дымящийся половник к его губам, но он отвернулся, чтобы выкрикнуть еще одно оскорбление. Она хлестнула его рукой по рту. – Ешь сейчас же! – прошептала она. Он поглядел на нее и, покорно ухмыляясь, начал глотать суп.

Уилл Пентленд внимательно посмотрел на девочку и, переведя взгляд на Данкена и Жаннадо, кивнул и подмигнул. Затем, не сказав больше ни слова, он вышел из комнаты и поднялся по лестнице. Его сестра лежала на спине, спокойно вытянувшись.

– Как ты себя чувствуешь, Элиза?

В комнате было душно от густого аромата созревающих груш; в камине непривычным огнем горели сосновые сучья – он встал перед камином и начал подрезать ногти.

– Никто не знает... никто не знает, – заплакав, сказала она сквозь быстрый поток слез, – что я перенесла.

Через мгновение она вытерла глаза уголком одеяла – ее широкий, могучий нос, красневший посредине белого лица, был как пламя.

– Что у тебя есть вкусенького? – спросил он, подмигивая ей с комической жадностью.

– Вон там на полке груши, Уилл. Я положила их на прошлой неделе созревать.

Он вошел в маленькую кладовую и тут же вернулся с большой желтой грушей, снова встал перед камином и открыл малое лезвие своего ножа.

– Хоть присягнуть, Уилл, – сказала она негромко. – Я больше терпеть этого не могу. Не знаю, что с ним сделалось. Но хоть последний доллар поставь – я больше этого терпеть не буду. Я сумею сама прожить, – закончила она, энергично кивнув.

Он узнал этот тон. И почти забылся.

– Послушай, Элиза, – начал он, – если ты думаешь строиться, то я... – но он вовремя спохватился. – Я... я продам тебе материалы по самой сходной цене, – договорил он и торопливо сунул в рот кусок груши.

Элиза несколько секунд быстро поджимала губы.

– Нет, – сказала она. – Об этом я пока не думала, Уилл. Я дам тебе знать.

Головешка в камине рассыпалась на угольки.

– Я дам тебе знать, – повторила она. Он сложил нож и сунул его в карман брюк.

– Покойной ночи, Элиза, – сказал он. – Петт к тебе заглянет. Я ей скажу, что ты себя чувствуешь неплохо.

Он тихо спустился по лестнице и открыл входную дверь. Пока он сходил с высокого крыльца, во двор из гостиной тихо вышли Данкен и Жаннадо.

– Как У. О.? – спросил он.

– Да все в порядке, – бодро ответил Данкен. – Спит как убитый.

– Сном праведника? – спросил Уилл Пентленд, подмигивая.

Швейцарцу не понравилась скрытая насмешка над его титаном.

– Очень грустно, – с акцентом сказал Жаннадо, – что мистер Гант пьет. С его умом он мог бы пойти далеко. Когда он трезв, лучше человека не найти.

– Когда он трезв? – переспросил Уилл, подмигивая ему в темноте. – Ну, а когда он спит?

– И стоит Хелен за него взяться, как он сразу затихает, – заметил Данкен своим глубоким басом. – Просто чудо, как эта девушка с ним справляется.

– Вот подите же! – благодушно засмеялся Жаннадо. – Эта девочка знает своего папу, как никто.

Девочка сидела в большом кресле в гостиной возле уга-сающего камина. Она читала, пока над углями не перестало плясать пламя, а тогда она тихонько присыпала их золой. Гант, погруженный в пучину сна, лежал на гладком кожаном диване у стены. Она уже укрыла его одеялом, а теперь положила на стул подушку и устроила на ней его ноги. От него несло перегаром, от его храпа дребезжала оконная рама.

Так в глубоком забытии промелькнула его ночь; когда в два часа у Элизы начались родовые схватки, он спал – и продолжал спать сквозь всю терпеливую боль и хлопоты доктора, сиделки и жены.

IV

Новорожденному – переиначивая избитую фразу – потребовалось бессовестно долгое время, чтобы появиться на свет, но когда Гант, наконец, окончательно проснулся на следующее утро около десяти часов, поскуливая и с болезненным стыдом что-то смутно вспоминая, он, пока допивал горячий кофе, который принесла ему Хелен, услышал громкий протяжный крик наверху.

– Боже мой, боже мой, – простонал он и, указывая вверх, откуда доносился звук, спросил: – Мальчик или девочка?

– Я еще не видела, папа, – ответила Хелен. – Нас туда

не пустили. Но доктор Кардыак вышел и сказал нам, что мы должны хорошо себя вести, и тогда он, может быть, принесет нам маленького мальчика.

Оглушительно загремело кровельное железо, раздался сердитый деревенский голос сиделки, и Стив кошкой спрыгнул с крыши крыльца на клумбу лилий перед окном Ганга.

– Стив, постреленыш проклятый! – взревел владыка дома, на мгновение обретая здоровье и силы. – Что ты, черт подери, затеял?

Мальчик перемахнул через изгородь.

– А я его видел! А я его видел! – стремительно прозвучал его голос.

– И я! И я! – завопил Гровер, вбегая в комнату и сразу же выбегая, весь во власти телячьего восторга.

– Если вы еще раз влезете на крышу, озорники, – кричала сверху сиделка, – я с вас шкуру спущу!

Услышав, что его последний отпрыск оказался мальчиком, Гант сначала было приободрился, но теперь он начал расхаживать по комнате и завел бесконечную lamentацию:

– Боже мой, боже мой! Еще и это должен я терпеть на старости лет! Еще один голодный рот! Это страшно, это ужасно, это жесто-око! – И он аффектированно зарыдал. Но, тотчас сообразив, что вокруг нет никого, кого могла бы тронуть его скорбь, он внезапно умолк, потом ринулся в дверь, пробежал через столовую и вышел в переднюю, громогласно причитая: – Элиза! Жена моя! Ах, деточка, скажи, что ты меня

прощаешь! – Он поднимался по лестнице, старательно рыдая.

– Не впускайте его, – с замечательной энергией резко распорядился предмет его мольбы.

– Скажите ему, что сейчас сюда нельзя, – сказал сиделке доктор Кардык своим сухим голосом, не отводя взгляда от весов. – К тому же у нас тут нет ничего, кроме молока, – добавил он.

Гант остановился у самой двери.

– Элиза, жена моя! Будь милосердной, умоляю! Если бы я знал...

– Да, – сказала деревенская сиделка, сердито открывая дверь. – Если бы собака не остановилась поднять ножку, она бы изловила кролика! Уходите, нечего вам тут делать! – И она захлопнула дверь перед его носом.

Гант с унылым видом спустился по лестнице, однако ухмыляясь на слова сиделки. Он быстро облизнул большой палец.

– Боже милосердный, – сказал он и ухмыльнулся. Потом снова завел свою жалобу запертого зверя.

– Мне кажется, этого будет достаточно, – сказал доктор Кардык, поднимая за пятки что-то красное, блестящее и морщинистое и звонко шлепая его по заднику, чтобы немного приободрить.

Наследник престола, собственно говоря, вступил в свет полностью снабженный всеми приспособлениями, принад-

лежностями, винтиками, краниками, вентилями, крючками, глазами, ногтями, которые считаются необходимыми для полноты внешнего вида, гармонии частей и единства впечатления в этом преисполненной энергии, натиска и конкуренции мире. Он был законченный мужчина в миниатюре, крохотный желудь, из которого предстояло вырасти могучему дубу, преемник всех веков, наследник несбывшейся славы, дитя прогресса, баловень нарождающегося Золотого Века, а к тому же, что важнее всего, Фортуна и ее феи не ограничились тем, что почти задушили его всеми этими дарами эпохи и семьи, но тщательно сберегли его до той поры, когда прогресс, перезрев, уже почти лопался от славы и блеска.

– Ну-с, и как же вы думаете назвать его? – с развязной врачебной грубостью осведомился доктор Кардыак, имея в виду этого более чем августейшего младенца.

Элиза оказалась более чуткой к вселенским вибрациям. И с полным, хотя и неточным ощущением всего, что это знаменовало, она дала Дитяти Счастья наименование «Юджин» – имя, возникшее из греческого слова «евгениос», которое в переводе означает «благородный», но отнюдь – как может подтвердить каждый – не означает и никогда не означало «благовоспитанный».

Этот избранный огонь, имя которому было уже дано и который составляет в этой хронике для большинства включенных в нее событий центральный обзоровательный пункт, родился, как мы уже говорили, на самом остром истории. Но,

может быть, читатель, ты успел сам подумать об этом? Как, нет? Ну, так позволь освежить в твоей памяти ход событий.

К 1900 году Оскар Уайлд¹⁵ и Джеймс Мак-Нейл Уистлер уже почти кончили говорить то, что, по утверждению современников, они говорили и что Юджину было суждено услышать через двадцать лет; большинство Великих Викторианцев скончалось до начала обстрела; Уильям Мак-Кинли был избран президентом на второй срок, а личный состав испанского военного флота вернулся домой на буксирном судне.

За границей угрюмая старая Британия в 1899 году послала ультиматум южноафриканцам; лорд Робертс («Малыш Бобс», как его нежно называли солдаты) был назначен главнокомандующим после того, как англичане несколько раз потерпели поражение; Трансваальская Республика была аннексирована Великобританией в сентябре 1900 года, и официально аннексия была объявлена в тот месяц, когда родился Юджин. Два года спустя собралась мирная конференция.

Ну, а что происходило в Японии? Я вам расскажу: первый парламент был созван в 1891 году, в 1894–1895 годах велась война с Китаем. Формоза была уступлена в 1895 году. Кро-

¹⁵ *Оскар Уайлд (1856–1900)* – английский писатель, мастер парадокса. По воспоминаниям современников, он был необыкновенно остроумным собеседником. Джеймс Мак-Нейл Уистлер (1834–1903) – американский художник и гравер. Человек весьма воинственного темперамента, он не скупился на остроумные саркастические выпады в адрес своих противников. Написал книгу «Высокое искусство наживать врагов».

ме того, Уоррен Гастингс¹⁶ был обвинен в злоупотреблениях, и его судили; папа Сикст Пятый родился и умер; Далмация была усмирена Тиберием; Велизарий был ослеплен Юстинианом; бракосочетание и погребение Вильгельмины-Шарлотты Каролины Бранденбург-Ансбахской и короля Георга Второго свершились со всей торжественностью, а венчание Беренгарики Наваррской с королем Ричардом Первым было почти забыто; Диоклетиан, Карл Пятый и Виктор-Амедей, король Сардинии, все трое отреклись от своих престолов; Генри Джеймс Пай, поэт-лауреат Англии, отошел к праотцам; Кассиодор, Квинтилиан, Ювенал, Лукреций, Марциал и Альберт Медведь Бранденбургский явились на последнюю поверку; битвы при Антьетаме, Смоленске, Друмклоге, Инкермане, Маренго, Кавнпоре, Килликренки, Слуйсе, Акциуме, Лепанто, Тьюксбери, Брэндиуаине, Хохенлиндене, Саламине и в Диких Землях произошли на суше и на море; Гиппий был изгнан из Афин Алкмеонидами и лакедемонянами; Симонид, Менандр, Страбон, Мосх и Пиндар покончили

¹⁶ *Кроме того, Уоррен Гастингс...* – В этом перечне исторических личностей и событий автор сознательно отступает от хронологии и сопоставляет их то по принципу сходства, то по принципу противоположности. Так, Уоррен Гастингс, первый английский генерал-губернатор Индии (1774–1785 гг.), папа Сикст Пятый (1585–1590 гг.), римский император Тиберий (14–37 гг.) и византийский император Юстиниан (527–565 гг.) вошли в историю как честолюбивые, расчетливые и жестокие правители. Поражение испанской Великой армады в 1588 году означало поражение католической реакции в Европе, а президент Авраам Линкольн был убит в 1865 году фанатиком-южанином, орудием наиболее реакционных сил США.

свои земные счета; блаженный Евсевий, Афанасий и Златоуст встали в свои небесные ниши; Менкаура построил Третью Пирамиду; Аспальта возглавил победоносные армии; далекие Бермуды, Мальта и Подветренные острова были колонизированы. Вдобавок испанская Великая армада потерпела поражение; президент Авраам Линкольн был убит, а галифакский рыболовный фонд заплатил Англии пять миллионов пятьсот тысяч долларов за преимущественное право ловли в течение двадцати лет. И наконец, всего за тридцать-сорок миллионов лет до этого наши самые первые предки выползли из первобытного ила и, так как подобная перемена вряд ли пришлась им по вкусу, без сомнения, тут же уползли обратно.

Таково было состояние истории, когда Юджин вступил на сцену человеческого театра в 1900 году.

Мы весьма охотно рассказали бы подробнее о мире, с которым его жизнь соприкасалась в первые несколько лет, и раскрыли бы со всей полнотой и со всеми ассоциациями смысл жизни, какой она представляется с пола или из колыбели, но в то время, когда все эти впечатления могли бы быть преданы гласности, о них молчат – не из-за какой-либо умственной ущербности, но из-за неумения управлять мышцами и правильно артикулировать звуки, а также из-за постоянных приливов одиночества, из-за усталости, уныния, потери перспективы и полной пустоты, которые ведут войну против упорядоченности мыслительных процессов челове-

ка, пока ему не исполнится три-четыре года.

Лежа в сумраке колыбели, вымытый, присыпанный тальком и накормленный, он тихонько думал об очень многом, пока не впадал в сон – в почти непрерывный сон, который стирал для него время и порождал чувство, что он навеки лишается еще одного дня ликующей жизни. В такие минуты он преисполнялся томительным ужасом при мысли о мучениях, слабости, немоте, бесконечном непонимании, которое ему придется терпеть, пока он не обретет хотя бы физической свободы. Он страдал при мысли о томительном пути, который ему предстояло пройти, об отсутствии координации между центрами контроля, о недисциплинированном и буйном мочевом пузыре, о спектакле, который он против воли вынужден был давать своим хихикающим, лапающим братьям и сестрам, когда его, вытертого и чистенького, вертели перед ними.

Он испытывал тягостные страдания, потому что был нищ символами; его интеллект был опутан сетью, потому что у него не было слов, на которые он мог бы опереться. Он не располагал даже названиями для окружавших его предметов – возможно, он определял их для себя с помощью собственного жаргона или изуродованных обломков речи, которая редела вокруг него и к которой он напряженно прислушивался изо дня в день, понимая, что путь к спасению лежит через язык. Он постарался побыстрее дать знать о своей мучительной потребности в картинках и печатном слове –

иногда они приносили ему огромные книги со множеством иллюстраций, и он с упорством отчаяния подкупал их, воркуя, радостно попискивая, нелепо гримасничая и проделывая все прочее, что они умели в нем понимать. Он злобно старался представить себе, что они почувствовали бы, если бы вдруг догадались, о чем он думает; иногда он смеялся над ними и над их дурацкой комедией ошибок, — когда они скакали вокруг него, чтобы его развеселить, трясли головами и грубо его щекотали, так что он против воли начинал хохотать. Его положение было одновременно и отвратительным и смешным: он сидел на полу и смотрел, как они входят, видел, как лицо каждого из них искажается глупой ухмылкой, слышал, как их голоса становятся сладкими и сюсюкающими, едва они заговаривали с ним и произносили слова, которых он еще не понимал и которые они (это он, во всяком случае, знал) коверкали в нелепой надежде сделать понятным то, что уже было искалечено. И несмотря на досаду, он не мог не засмеяться над дураками.

А когда его оставляли спать одного в комнате с закрытыми ставнями, где на пол ложились полосы густого солнечного света, им овладевало неизбежное одиночество и печаль: он видел свою жизнь, теряющуюся в сумрачных лесных колоннадах, и понимал, что ему навсегда суждена грусть — запертая в этом круглом маленьком черепе, заточенная в этом быющемся укрытом от всех сердце, его жизнь была обречена бродить по пустынным дорогам. Затерянный! Он понимал,

что люди вечно остаются чужими друг другу, что никто не способен по-настоящему понять другого, что, заточенные в темной утробе матери, мы появляемся на свет, не зная ее лица, что нас вкладывают в ее объятия чужими и что, попав в безвыходную тюрьму существования, мы никогда уже из нее не вырвемся, чьи бы руки нас ни обнимали, чей бы рот нас ни целовал, чье бы сердце нас ни согревало. Никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда.

Он видел, что огромные фигуры, которые возникали и суетились вокруг него, чудовищные ухмыляющиеся головы, которые жутко всовывались в его колыбель, оглушительные голоса, которые бессмысленно грохотали над ним, немногим лучше понимают друг друга, чем понимают его, что даже их речь, легкость и свобода их движений – лишь весьма скудные средства передачи их мыслей и чувств и часто не только не способствуют пониманию, а, наоборот, углубляют и ожесточают раздоры, злобу и предубеждения.

Его мозг чернел от ужаса. Он видел себя немым чужаком, забавным крошкой клоуном, которого эти гигантские оstraненные фигуры могут нянчить и тетешкать в свое удовольствие. Из одной тайны его ввергали в другую – где-то не то внутри, не то вовне своего сознания он слышал слабые отголоски звона огромного колокола, как будто доносящиеся со дна моря, и пока он слушал, в его сознании прошептал призрак воспоминания, и на миг ему почудилось, что он почти обрел то, что утратил.

Иногда, подтянувшись к высокому краю колыбели, он глядел с головокружительной высоты на узор ковра далеко внизу; окружающий мир прокатывался через его сознание, как волны прилива, то на мгновение запечатляясь там резкой подробной картиной, то откатываясь в сонную смутную даль, пока он по кусочкам складывал непонятные впечатления, видя только отблески огня на кочерге, слыша загадочное поклохтывание разнежившихся на солнце кур – где-то там, в далеком колдовском мире. И он слышал их утреннее будоражащее кудактанье, громкое и четкое, и внезапно становился полноправным гражданином жизни; или же чередующимися волнами фантазии и факта на него налетал и вновь откатывался волшебный гром музыкальных упражнений Дейзи. Много лет спустя он вновь услышал этот гром, и в его мозгу распахнулась дверца – Дейзи сказала ему, что это «Менуэт» Падеревского.

Колыбелью ему служила большая плетеная корзина с добротным матрасиком и подушками внутри; окрепнув, он начал выделять в ней отчаянные акробатические номера – кувыркался, изгибался в кольцо и, без усилий поднимаясь на ножки, стоял совершенно прямо; или, упорно и терпеливо добиваясь своего, переваливался через край на пол. Там он полз по бескрайнему узору ковра к большим деревянным кубикам, наваленным бесформенной грудой. Это были кубики его брата Люка, и на них яркими красками пестрели все буквы алфавита.

Он неуклюже держал их в крохотных ручонках и часами изучал символы речи, зная, что перед ним камни храма языка, и всеми силами пытаюсь найти ключ, который внес бы порядок и осмысленность в этот хаос. Высоко над ним раскатывались оглушительные голоса, гигантские фигуры появлялись и исчезали, возносили его на головокружительную высоту, с неистощимой силой укладывали в колыбель. В глубинах моря звонил колокол.

Однажды, когда щедрая южная весна развернулась во всей своей пышности, когда губчатая черная земля на дворе покрылась внезапной нежной травкой и влажными цветами, а большая вишня медленно набухла тяжелым янтарем клейкого сока и вишни зрели богатыми гроздьями, Гант вынул его из корзинки, стоявшей на залитом солнцем высоком крыльце, и пошел с ним вокруг дома, мимо лилий на клумбах, в дальний конец участка – к дереву, певшему невидимыми птицами.

Здесь лишенную тени сухую землю плуг разбил на комья. Юджин знал, что это было воскресенье, – из-за тишины; от высокой решетки пахло нагретым бурьяном. По ту ее сторону корова Свейна жевала прохладную жесткую траву, время от времени поднимая голову и сильным глубоким басом изливая свою воскресную радость. В теплом промытом воздухе Юджин с абсолютной ясностью слышал все деловитые звуки соседних задних дворов, он с особой остротой осознал всю картину, и, когда корова Свейна снова запела, он по-

чувствовал, как в нем распахнулись створки переполненного шлюза. И он ответил: «Муу!», произнеся эти звуки робко, но четко, и повторил их уже уверенно, когда корова отозвалась.

Гант обезумел от восторга. Он повернулся и кинулся к дому во весь размах своих длинных ног. На бегу он щекотал жесткими усами нежную шейку Юджина, трудолюбиво мычал и каждый раз получал ответ.

– Господи помилуй! – воскликнула Элиза, глядя из окна кухни, как Гант очертя голову мчится через двор. – Он когда-нибудь убьет мальчика!

И когда он взлетел на кухонное крыльцо – весь дом, за исключением задней стены, был приподнят над землей, – она вышла на маленькую закрытую веранду. Руки у нее были в муке, нос пылал от жара плиты.

– Что это вы затеяли, мистер Гант?

– «Муу»! Он сказал «муу»! Да-да! – Гант говорил это не столько Элизе, сколько Юджину.

Юджин немедленно ему ответил: он чувствовал, что все это довольно глупо, и предвидел, что ближайшие дни ему придется без отдыха подражать корове Свейна, но все-таки он был очень возбужден и обрадован: в стене появился первый пролом.

Элиза тоже восхитилась, но выразила это по-своему: скрыв удовольствие, она вернулась к плите и сказала:

– Хоть присягнуть, мистер Гант! В жизни не видывала такого олуха с ребенком!

Позже Юджин лежал, не засыпая, в корзинке на полу гостиной и следил за тем, как нетерпеливые руки всех членов семьи расхватывают полные тарелки – Элиза в ту пору готовила великолепно, и каждый воскресный обед был событием. В течение двух часов после возвращения из церкви младшие мальчики, облизываясь, бродили возле кухни: Бен, гордо хмурясь, прятал свой интерес под маской невозмутимого достоинства, но часто проходил через дом поглядеть, как подвигается стряпня; Гровер являлся прямо в кухню и откровенно не спускал глаз с плиты, пока его не выставляли вон, а Люк, чью широкую веселую мордашку разрезала пополам ликующая улыбка, стремительно бегал по всем комнатам и ликующе вопил:

Ви-ини, ви-иди, ви-ики,
Ви-ини, ви-иди, ви-ики,
Ви-ини, ви-иди, ви-ики,
Ви! Ви! Ви!

Он слышал, как Дейзи и Джозефина Браун вместе переводили Цезаря, и его песенка была вольной интерпретацией краткой похвальбы Цезаря¹⁷: *Veni, vidi, vici*¹⁸.

Лежа в колыбели, Юджин слушал шум обеда, доносящийся-

¹⁷ ...краткой похвальбы Цезаря... – Римский историк Плутарх сообщает, что Юлий Цезарь известил своего друга о победе над понтийским царем тремя словами: «Пришел, увидел, победил».

¹⁸ Пришел, увидел, победил (*лат.*).

ся через открытую дверь столовой: стук посуды, возбужденные голоса мальчиков, звонкий скрежет ножа о нож, когда Гант приготовился разрезать жаркое, и рассказ о великом утреннем событии, который повторялся снова и снова без каких-либо вариаций, но со все возрастающим увлечением.

«Скоро, – подумал он, когда до него донеслись густые ароматы съестного, – и я буду там с ними». И он сладострастно задумался о таинственной и сочной еде.

Весь этот день Гант на веранде рассказывал о случившемся, собирая соседей и заставляя Юджина демонстрировать свое достижение. Юджин ясно слышал все, что говорилось в этот день; ответить он не мог, но понимал, что вот-вот обретет дар речи.

Именно так перед ним позднее вставали первые два года его жизни – яркими отдельными вспышками. Свое второе Рождество он помнил смутно, как праздничное время, и все же, когда пришло третье Рождество, он был к нему готов. Благодаря чудотворному ощущению привычности, которое вырабатывается у детей, он словно всегда знал, что такое Рождество.

Он осознавал солнечный свет, дождь, танцующий огонь, свою колыбель, угрюмую темницу зимы; в теплый день второй весны он увидел, как Дейзи идет в школу на холме – она приходила домой обедать во время большой перемены. Дейзи училась в школе для девочек мисс Форл; это был кирпичный дом на краю крутого холма – он увидел, как у самой

вершины она догнала Элинор Данкен. Ее волосы были заплетены в две длинные косы, падающие на спину, — она была скромной, робкой, застенчивой и легко краснеющей девочкой; но он боялся ее забот, потому что она купала его с яростным неистовством, давая выход тем элементам вспыльчивости и агрессивности, которые прятались где-то под ее флегматичным спокойствием. Она растирала его буквально до крови. Он жалобно вопил. Теперь, когда она поднималась по холму, он вспомнил ее и осознал, что это — один и тот же человек.

Прошел второй день его рождения, и свет все усиливался. В начале следующей весны он на время ощутил себя заброшенным — в доме стояла мертвая тишина, голос Ганта больше не грохотал вокруг него, мальчики приходили и уходили на цыпочках. Люк, четвертая жертва эпидемии, был тяжело болен тифом, и Юджина почти полностью предоставили заботам молодой неряшливой негритянки. Он ясно помнил ее высокую нескладную фигуру, лениво шаркающие подошвы, грязные белые чулки и исходивший от нее крепкий и душный запах. Как-то она вывела его поиграть у бокового крыльца. Было весеннее утро, пропитанное влагой оттаивающей земли. Нянька села на ступеньки и, зевая, смотрела, как он копошился в своем грязном платье сначала на дорожке, а потом на клумбе лилий. Вскоре она задремала, прислонившись к столбику перил. А он тихонько протиснулся между прутьями решетки и очутился в засыпанном шлаком

проулке, который уходил вниз к дому Свейнов и вился вверх к изукрашенному деревянному дворцу Хильярдов.

Они принадлежали к высшей аристократии города – они переехали сюда из Южной Каролины, «из-под Чарлстона», и уже одно это в те времена давало им величайший престиж. Их дом, внушительное строение с мансардами и башенками орехово-коричневого цвета, казалось, состоял из множества углов и был воздвигнут без всякого плана на вершине холма, склон которого спускался к дому Ганта. Ровную площадку перед домом занимали величественные дубы, а ниже вдоль засыпанного шлаком проулка, окаймляя плодовый сад Ганта, росли высокие поющие сосны.

Дом мистера Хильярда считался одним из лучших особняков города. В этом квартале жили люди среднего достатка, но местоположение было чудесным, и Хильярды держались с величественной недоступностью: хозяева замка, которые спускаются в деревню, не замечая ее обитателей. Все их друзья приезжали в каретах издалека; каждый день точно в два часа старый негр в ливрее быстро проезжал вверх по извилистому проулку в экипаже, запряженном двумя ухоженными гнедыми кобылами, и ждал в боковых воротах появления своего господина и госпожи. Пять минут спустя они уезжали и возвращались через два часа.

Этот ритуал, за которым Юджин внимательно следил из окна отцовской гостиной, завораживал его еще много лет спустя – люди и жизнь соседнего дома были зримо и симво-

лично выше него.

В это утро он испытывал огромное удовлетворение от того, что оказался наконец в проулке Хильярдов – это было для него первое бегство, и оно привело его в запретное и священное место. Он копошился на самой середине дороги, разочарованный свойствами шлака. Гулкие куранты на здании суда пробили одиннадцать раз.

А каждое утро ровно в три минуты двенадцатого – настолько незыблем и совершенен был порядок, заведенный в этом вельможном доме, – огромный серый битюг медленной рысцей взбирался по склону, таща за собой тяжелый фургон бакалейщика, пропитанный пряными, застоявшимися ароматами бакалейных товаров и занятый исключительно хильярдскими припасами, возница же, молодой негр, по традиции в три минуты двенадцатого каждого утра всегда крепко спал. Ведь ничего не могло случиться: битюга не отвлекла бы от выполнения его священной миссии даже мостовая, устланная овсом.

И битюг тяжеловесно поднялся вверх по склону, громоздко свернул в проулок и продолжал продвигаться вперед все той же неторопливой рысцей, пока не почувствовал под огромным кругом правого переднего копыта какую-то крохотную помеху: битюг поглядел вниз и медленно снял копыто с того, что еще совсем недавно было лицом маленького мальчика.

Затем, старательно расставляя ноги как можно шире, он

протащил фургон над телом Юджина и остановился. Возница и нянька проснулись одновременно; в доме раздался крик, и из дверей выбежали Элиза и Гант. Перепуганный негр поднял маленького Юджина, который не осознавал, что вдруг вернулся на авансцену, и передал мальчика в могучие руки доктора Макгайра, а тот замысловато его выругал. Толстые чуткие пальцы врача быстро ощупали окровавленное личико и не обнаружили ни одного перелома.

Макгайр коротко кивнул, глядя на их полные отчаяния лица.

– Ничего, он еще станет членом конгресса, – сказал он. – Судьба одарила вас невезеньем и твердыми лбами, У. О.

– Черт бы тебя побрал, черномазый мошенник! – закричал Гант, с невыразимым облегчением набрасываясь на возницу. – Я тебя за это упрячу в тюрьму!

Он просунул длинные ручищи сквозь решетку и принялся душить негра, который бормотал молитвы, не понимая, что с ним происходит, – он видел только, что оказался центром дикого смятения.

Нянька, хлюпая носом, убежала в дом.

– Это не так плохо, как выглядит, – заметил Макгайр, укладывая героя на диван. – Принесите теплой воды, пожалуйста.

Тем не менее потребовалось два часа, чтобы привести Юджина в чувство. Все очень хвалили лошадь.

– У нее куда больше соображения, чем у этого чернома-

зого, – сказал Гант, лизнув большой палец.

Но Элиза в глубине души знала, что все это было частью плана Вещих Сестер¹⁹. Внутренности были сплетены и прочитаны давным-давно, и хрупкий череп, хранитель жизни, который мог быть раздавлен так же легко, как человек разбивает яйцо, остался цел. Но Юджин в течение многих лет носил на лице метку кентавра, хотя увидеть ее можно было, только когда свет падал на нее определенным образом.

Став старше, Юджин иногда гадал, вышли ли Хильярды из своего горного обиталища, когда он так кощунственно нарушил порядки господского дома. Он никого не спрашивал, но думал, что они не вышли: он представлял себе, как в лучшем случае они величественно стояли у спущенных штор, не зная точно, что произошло, но чувствуя, что это – что-то неприятное, окропленное кровью.

Вскоре после этого случая мистер Хильярд поставил у границы своих владений доску с надписью: «Посторонним вход запрещен».

V

Люк поправился после того, как несколько недель проклинал почем зря доктора, сиделку и всех родных, – это был очень упорный тиф.

¹⁹ *Вещие Сестры* – в греческой мифологии богини судьбы Парки, предопределяющие все, что должно произойти с человеком на протяжении его жизни.

Гант был теперь главой многочисленного семейства, которое ступенями поднималось от младенчества к юноше Стиву – ему исполнилось восемнадцать лет – и почти взрослой девушке Дейзи. Ей было семнадцать, и она училась в школе последний год. Она была робкой и впечатлительной, занималась прилежно и усидчиво, – все учителя считали ее самой лучшей своей ученицей. В ней почти не было собственного огня и сопротивления; она послушно воспринимала все наставления и возвращала то, что получала. Она играла на рояле, не питая к музыке особой любви, но с прелестным четким туше воспроизводила написанное композитором. И она упражнялась часами.

С другой стороны, было очевидно, что Стива образование не влечет. Когда ему было четырнадцать, директор школы вызвал его в свой маленький кабинет, чтобы высечь за постоянные прогулы и дерзость. Но Стиву не была свойственна покорность – он выхватил розгу из рук директора, переломил ее, изо всей мочи стукнул директора в глаз и, торжествуя, спрыгнул с третьего этажа на землю.

Это был один из лучших поступков в его жизни – в других отношениях он вел себя гораздо хуже. Уже давно – когда он начал прогуливать школу, и после того, как его исключили, и по мере того, как он быстро ожесточался в порочности, – антагонизм между ним и Гантом перешел в открытую и горькую вражду. Возможно, Гант узнавал в большинстве пороков сына свои собственные пороки, однако в Стиве не было того

качества, которое искупало их в Ганте: вместо сердца у него был кусок застывшего топленого сала.

Из всех детей Ганта ему приходилось хуже всего. С раннего детства он был свидетелем самых диких дебошей отца. И он ничего не забыл. Кроме того, он, как старший, был представлен самому себе – все внимание Элизы сосредоточивалось на младших детях. Она кормила грудью Юджина еще долго после того, как Стив отнес свои первые два доллара дамам Орлиного тупика.

Внутренне он очень обижался на брань, которой осыпал его Гант; он не был совсем слеп к своим недостаткам, но оттого, что его называли «праздношатающимся бродягой», «никчемным дегенератом» и «завсегдатаем бильярдных», его хвастливая и дерзкая манера держаться становилась только еще более вызывающей. Одетый с дешевым франтовством – желтые штиблеты, полосатые брюки режущей расцветки и широкополая соломенная шляпа с пестрой лентой, – он нелепой раскачивающейся походкой прогуливался по улицам с мучительно самоуверенной улыбкой на губах и заискивающе здоровался со всеми, кто его замечал. А если ему кланялся состоятельный человек, его израненное, раздутое тщеславие жадно хваталось за эту кроху, и дома он жалко хвастал:

– Малыша Стиви все знают! Его уважают все стоящие люди в городе, вот как! У всех найдется доброе слово для Малыша Стиви, кроме его родни. Знаете, что мне сегодня ска-

зал Дж. Т. Коллинз?

– Что сказал? А кто это? Кто это? – смешно зачастила Элиза, отрываясь от чулка, который она штопала.

– Дж. Т. Коллинз – вот кто! Он стоит всего только двести тысяч долларов. «Стив, – сказал он вот прямо так. – Да будь у меня твоя голова...»

И он продолжал с угрюмым удовлетворением живописать картину своего будущего успеха, когда все те, кто пренебрегает им теперь, восторженно стекутся под его знамя.

– Д-а-да! – говорил он. – Они все тогда будут счастливы пожать руку Малыша Стиви.

Когда его исключили из школы, Гант в ярости жестоко избил его. Этого Стив не забыл. В конце концов ему было сказано, что он должен сам себя содержать, и он начал подрабатывать, то продавая содовую воду, то разнося утренние газеты. Как-то раз он отправился посмотреть свет с приятелем – Гусом Модии, сыном литейщика. Чумадые после путешествия в товарных вагонах, они слезли с поезда в Ноксвилле в Теннесси, истратили все свои небольшие деньги на еду и в публичном доме и вернулись домой через два дня, угольно-черные, но чрезвычайно гордые своими приключениями.

– Хоть присягнуть! – ворчала Элиза. – Просто не знаю, что выйдет из этого мальчишки.

Таков был трагический недостаток ее характера – всегда с опозданием осознавать самое существенное: она задумчиво поджимала губы, отвлекалась – а потом плакала, когда беда

приходила. Она всегда выжидала. Кроме того, в глубине души она любила старшего сына не то чтобы больше остальных, но совсем по-другому. Его бойкая хвастливость и жалкая заносчивость нравились ей, она усматривала в них доказательство его «умения жить» и часто приводила в ярость своих прилежных дочерей, одобрительно отзываясь об этих качествах. Глядя, например, на исписанный им листок, она говорила:

– Ничего не скажешь, почерк у него куда лучше, чем у всех вас, сколько бы вы там ни учились!

Стив рано вкусил радостей бутылки – еще в те дни, когда ему приходилось быть свидетелем отцовских дебошей, он украдкой отхлебывал из полупустой фляжки глоток-другой крепкого скверного виски. Вкус виски вызывал у него тошноту, зато было чем похвастать перед приятелями.

Когда Стиву было пятнадцать, они с Гусом Моди, забравшись в соседский сарай покурить, обнаружили завернутую в мешок бутылку, которую почтенный обыватель укрывал тут от придиричивого взгляда жены. Хозяин, явившись для очередного тайного возлияния и заметив, что бутылка наполовину опустела, твердой рукой подлил туда кретонового масла – и несколько дней мальчиков непрерывно тошнило.

Однажды Стив подделал на чеке подпись отца. Гант обнаружил это только через несколько дней – чек был всего на три доллара, но гнев его не знал границ. Дома он разразился речью, настолько громовой, что поступок Стива стал из-

вестен всем соседям: он говорил, что отправит мерзавца в исправительное заведение, в тюрьму, что его опозорили на старости лет (этого периода своей жизни он еще не достиг, но в подобных случаях всегда на него ссылался).

Гант, конечно, оплатил чек, но теперь к его запасу бранных эпитетов прибавился еще и «фальшивомонетчик». Несколько дней Стив уходил из дома и возвращался домой крадучись и ел в одиночестве. Когда он встретился с отцом, сказано не было почти ничего: сквозь глазурь злобы оба заглядывали в самую сущность друг друга; они знали, что не могут скрыть друг от друга ничего – в обоих гноились одни и те же язвы, одни и те же потребности и желания, одни и те же низменные страсти оскверняли их кровь. И от этого сознания что-то и в том и в другом отворачивалось с мучительным стыдом.

Гант и это прибавил к своим филиппикам против Элизы – все, что было в мальчике дурного, он получил от матери.

– Горская кровь! Горская кровь! – надрывался он. – Он – точная копия Грили Пентленда. Помяни мое слово, – добавил он после того, как некоторое время лихорадочно метался по дому, что-то бормоча себе под нос, и наконец опять ворвался в кухню, – помяни мое слово: он кончит тюрьмой.

Элиза, чей нос багровел от брызг кипящего жира, поджигала губы и молчала или же, выйдя из себя, отвечала так, чтобы разъярить его и уязвить побольнее.

– Ну, может быть, он был бы лучше, если бы в детстве ему

не приходилось бегать по всем кабакам и притонам в поисках своего папочки.

– Ты лжешь, женщина! Клянусь богом, ты лжешь! – гремел он величественно, но не в полном соответствии с истинной.

Гант теперь пил меньше, если не считать отчаянных запоев, которые повторялись через каждые полтора-два месяца и длились два-три страшных дня, Элизе в этом отношении жаловаться было не на что. Но ее колоссальное терпение совсем истощилось из-за ежедневных потоков брани, которые обрушивались на нее. Теперь они спали наверху в разных спальнях. Гант вставал в шесть или в половине седьмого и спускался вниз, чтобы затопить плиту на кухне и камин в гостиной. Все время, пока он разводил огонь в плите и ревущее пламя в камине, он непрерывно бормотал себе под нос, иногда вдруг по-ораторски возвышая голос. Так он сочинял и доводил до совершенства свои бесконечные инвективы. Когда все требования риторики и выразительности были наконец удовлетворены, он внезапно появлялся перед ней на кухне и раздражался речью без каких-либо предисловий как раз в тот момент, когда туда входил негр-рассыльный, который доставлял свиные отбивные или вырезку для бифштексов.

– Женщина, скажи, был бы у тебя сегодня кров над головой, если бы не я? Обеспечил бы его тебе никчемный старикашка, твой отец Том Пентленд? Или твой брат Уилл, или

твой брат Джим? Ты когда-нибудь слышала, чтобы они кому-нибудь что-нибудь дали? Ты когда-нибудь слышала, чтобы их заботило что-нибудь, кроме их гнусных шкур? Слышала, а? Кто-нибудь из них подал бы черствую корку умирающему с голоду нищему? Нет и нет, богом клянусь! Будь даже у любого из них пекарня! Увы мне! Черным был день, когда я приехал в этот проклятый край, не ведая, к чему это приведет! Горные свиньи! Горные свиньи! – И прилив достигал апогея.

Иногда, пытаясь отразить его атаки, она начинала плакать. Это его радовало: ему нравилось смотреть, как она плачет. Но обычно она только бросала резкие язвительные ответы. В скрытых глубинах между их слепо враждующими душами шла безжалостная отчаянная война. И все же если бы Гант узнал, до чего могли довести ее эти ежедневные атаки, он удивился бы, – они порождались глубоким лихорадочным недовольством его духа, инстинктивной потребностью в объекте для поношений.

К тому же его собственная любовь к порядку была так велика, что он страстно ненавидел всякую неряшливость, беспорядок, сумбур. По временам он впадал в настоящую ярость, обнаруживая, как тщательно она сберегает обрывки бечевки, пустые банки и бутылки, оберточную бумагу и прочий всевозможный хлам. Мания стяжательства, еще не развившаяся у Элизы в душевную болезнь, приводила его в бешенство.

– Во имя господи! – кричал он с искренним гневом. – Во имя господи! Почему ты не выбросишь этот мусор? – И он угрожающе приближался к причине распри.

– Нет, мистер Гант! – резко возражала она. – Это все может в любой день для чего-нибудь понадобиться...

Пожалуй, в этом скрывалась какая-то глубокая нелогичность: неутоленная жажда странствий была свойственна человеку, наделенному величайшей любовью к порядку, благоговейно почитавшему всякий ритуал, превращавшему в обряд даже свои ежедневные бранные тирады, а бесформенная хаотичность, одушевляемая всепоглощающей тягой к обладанию, была присуща практичной, будничной натуре.

В Ганте жила страсть истинного скитальца – того, кто уходит от чего-то определенного. Он нуждался в упорядоченности, в семейном очаге – он в первую очередь был главой семьи, их теплота и сила, сосредоточивавшиеся вокруг него, были его жизнью. После очередной утренней филиппики, брошенной в лицо Элизе, он шел будить спящих детей. Как ни смешно, для него было невыносимо утреннее ощущение, что в доме на ногах только он один.

Формула побудки, произносимая с комической утрированной ворчливостью на нижней ступеньке лестницы, была такова:

– Стив! Бен! Гровер! Люк! Эй вы, проклятые лентяи, вставайте! Господи, что из вас выйдет! Всю жизнь останетесь ничтожествами!

Он продолжал вопить на них снизу так, словно они Наверху чутко внимали каждому его слову.

— В вашем возрасте я к этому часу успевал выдоить четырех коров, сделать всю работу по дому и пройти по снегу восемь миль!

Собственно говоря, когда бы он ни заговаривал о своих школьных годах, он неизменно рисовал пейзаж, погребенный под трехфутовым слоем снега и скованный жестоким морозом. Казалось, он не посещал школы иначе, как в условиях полярной зимы.

Пятнадцать минут спустя он снова начинал кричать:

— Из вас никогда ничего не выйдет, никчемные бездельники! Да если одна стена обрушится, вы только перекатитесь к другой и опять захрапите!

Вслед за этим наверху раздавался быстрый топот босых ног, и мальчики один за другим нагишом скатывались по лестнице, держа одежду в охапке. Они одевались в гостиной перед ревущим камином, который он так старательно растопил.

Во время завтрака Гант, если не считать отдельных ламентаций, бывал почти в хорошем настроении. Ели они до отвала — он накладывал на их тарелки большие ломти жареного мяса, яичницу со шкварками, поджаренный хлеб, джем, печеные яблоки. Он уходил в свою мастерскую примерно в девять, когда мальчики, еще судорожно доглатывая горячую еду и кофе, стремглав выбегали из дома, а мелодичный

школьный колокол предостерегающе звонил в последний раз перед началом уроков.

Возвращаясь к обеду, он был словоохотлив, пока не истощались утренние новости; вечером, когда вся семья опять собиралась вместе, он разводил в камине жаркий огонь и начинал заключительную инвективу – эта церемония требовала полчаса на подготовку и еще три четверти часа на исполнение со всеми повторениями и добавлениями. Затем они ужинали – вполне мирно и счастливо.

Так прошла зима. Юджину исполнилось три года. Ему купили буквари и картинки, изображавшие животных, под которыми помещались рифмованные басни. Гант неумоимо читал их мальчику, и через полтора месяца Юджин помнил их все до последнего слова.

В конце зимы и всю весну он несчетное число раз устраивал для соседей одно и то же представление: держа перед собой книгу, он притворялся, будто читает то, что знал наизусть. Гант был в восторге и покрывал этот обман. Все говорили, что просто неслыханно, чтобы такой малыш и так хорошо читал!

Весной Гант снова запил; но за две-три недели его жажда сошла на нет, и он пристыженно вернулся в обычную колею. Однако Элиза готовила перемену в их жизни.

Шел 1904 год, и в Сент-Луисе предстояло открытие Всемирной выставки – она должна была дать зрительное представление об истории цивилизации и быть лучше, больше и

величественнее всех прежних подобных выставок. Многие алтамонтцы думали ее посетить, и Элиза была заморожена возможностью соединить путешествие с выгодой.

– Знаете что, – как-то вечером задумчиво начала она, отложив газету. – Пожалуй, надо бы сложиться и уехать.

– Уехать? Куда?

– В Сент-Луис, – ответила она. – А если все пойдет гладко, мы могли бы и совсем туда перебраться.

Она знала, что мысль о полном изменении налаженной жизни, о путешествии в новые края в поисках нового счастья не может не показаться ему заманчивой. Об этом много было переговорено в прошлом, когда он решил расторгнуть свой договор с Уиллом Пентлендом.

– Что ты там намерена делать? Как быть с детьми?

– А вот что, сэр, – ответила она самодовольно, с хитренькой улыбочкой поджимая губы. – Я просто подыщу хороший большой дом и буду сдавать комнаты приезжим из Алтамон-та.

– Боже милосердный, миссис Гант! – возопил он трагически. – Вы же ничего подобного не сделаете! Умоляю вас.

– Пф, мистер Гант! Что еще за глупости! В том, чтобы брать жильцов, ничего зазорного нет. У нас в городе этим занимаются самые почтенные люди.

Она знала, как уязвима его гордость, – он не мог вынести мысли, что его сочтут неспособным содержать семью: он любил хвастливо повторять, что он «хороший добытчик». Кро-

ме того, постоянное пребывание под его кровом тех, кто не был плотью от его плоти, насыщало атмосферу угрозой, разрушало стены его замка. И наконец, он питал неодолимое отвращение к самой идее жильцов – есть хлеб, оплаченный презрением, насмешками и деньгами тех, кого он именовал «постояльцами-голодранцами», было немыслимым унижением.

Она знала все это, но не понимала его чувства. Не просто владеть собственностью, но и извлекать из этой собственности доход – это входило в религиозное кредо ее семьи, и она превзошла их всех, когда задумала сдать внаем часть своего жилища. Из всех Пентлендов она одна была готова отказаться от маленького дома-замка, отделенного рвами от остального мира; только она одна, казалось, не ценила уюта, которую даруют замковые стены. И только она одна из них носила юбку.

Она еще продолжала кормить Юджина грудью, когда ему пошел четвертый год, но в эту зиму она отняла его от груди. Что-то в ней кончилось, что-то началось.

В конце концов она добилась своего. Иногда она задумчиво и убедительно доказывала Ганту осуществимость своего проекта. Иногда во время его вечерних филиппик она, огрызаясь, использовала свою поездку на Всемирную Ярмарку как угрозу. Что именно должно было это ей принести, она не знала. Но она чувствовала, что это станет каким-то началом. И в конце концов добилась своего.

Гант не устоял перед приманкой новых краев. Он должен был остаться дома – и приехать позднее, если все пойдет хорошо. Его прельщала и мысль о временном освобождении. В нем пробудились отзвуки былых стремлений его юности. Его оставляли дома, но мир для одинокого человека полон притаившихся невидимых теней. Дейзи училась в последнем классе – она осталась с ним. Но разлука с Хелен причинила ему боль. Ей уже почти исполнилось четырнадцать лет.

В начале апреля Элиза отбыла со своим взбудораженным выводком, держа Юджина на руках. Он был совсем сбит с толку этой калейдоскопической суетой, но полон любопытства и энергии.

В дом нахлынули Таркинтоны и Данкены, начались слезы и поцелуи. Миссис Таркинтон взидала на нее с почтительным ужасом. Все соседи были несколько сбиты с толку этим событием.

– Ну, как знать... как знать... – говорила Элиза со слезливой улыбкой, наслаждаясь сенсацией, которую вызвало ее решение. – Если все пойдет хорошо, мы, пожалуй, там и останемся.

– Вернетесь, вернетесь! – объявила миссис Таркинтон с бодрой уверенностью. – Лучше Алтамонта места не найти!

На вокзал они поехали в трамвае. Бен и Гровер сидели рядом, весело охраняя корзину со съестными припасами. Хелен нервно прижимала к груди ворох свертков. Элиза оценивающе поглядела на ее длинные прямые ноги и вспомнила,

что Хелен предстоит ехать за полцены – по детскому билету.

– Послушайте-ка, – начала она, пряча смешок в ладони и толкая Ганта локтем, – ей придется свернуться улиткой, верно? Все будут думать, что ты уж очень рослая для одиннадцати-то лет, – продолжала она, обращаясь прямо к девочке.

Хелен нервно заерзала на сиденье.

– Зря мы так сделали, – пробормотал Гант.

– Пф! – сказала Элиза. – Никто на нее и внимания не обратит.

Он усадил их в спальный вагон, где ими занялся услужливый кондуктор.

– Пригляди за ними, Джордж, – сказал Гант и сунул кондуктору монету. Элиза впилась в нее ревнивым взглядом.

Он ткнулся усами в их щеки, а костлявые плечики своей девочки погладил огромной ладонью и крепко ее обнял. Элизу что-то больно укололо внутри.

Они неловко молчали. Необычность, нелепость всего ее проекта и чудовищная неразбериха, в которую превращалась жизнь, мешали им говорить.

– Ну, – начал он, – наверное, ты знаешь, что делаешь.

– Ну, я же вам говорила, – сказала она, поджимая губы и глядя в окно. – Как знать, что из этого выйдет.

Он почувствовал неясное умиротворение. Поезд дернулся и медленно двинулся вперед. Он неуклюже ее поцеловал.

– Дай мне знать, как только вы доберетесь до места, – сказал он и быстро пошел к двери.

– До свидания, до свидания! – кричала Элиза и махала ручонкой Юджина высокой фигуре на перроне.

– Дети, – сказала она, – помашите папе.

Они сгрудились у окна. Элиза заплакала.

Юджин смотрел, как заходящее солнце льет багрянец на порожистую реку и на пестрые скалы теннессийских ущелий – заколдованная река навеки запала в его детскую память. Много лет спустя она возникала в его снах, населенных неуловимой таинственной красотой. Затихнув от великого изумления, он уснул под ритмичный перестук тяжелых колес.

Они жили в белом доме на углу. Перед домом был маленький газон, и еще узкая полоска травы тянулась вдоль тротуара. Он смутно понимал, что дом находится где-то далеко от центральной паутины и рева большого города: кажется, он слышал, как кто-то сказал – «в четырех-пяти милях». А где была река?

Два маленьких мальчика – близнецы с длинными белобрысыми головами и остренькими хитрыми лицами – все время носились взад и вперед по тротуару перед домом на трехколесных велосипедах. На них были белые матросские костюмчики с синими воротниками, и он их свирепо ненавидел. Он смутно чувствовал, что их отец был плохим человеком – упал в шахту лифта и сломал ноги.

У дома был задний двор, обнесенный красным дощатым

забором. В дальнем его конце был красный сарай. Много лет спустя Стив, вернувшись домой, сказал: «Этот район там весь теперь застроен». Где?

Как-то на жарком пустом заднем дворе выставили проветривать две кровати с матрасами. Он блаженно растянулся на одной, дыша нагретым матрасом и лениво задирая маленькие ноги. На второй кровати лежал Люк. Они ели персики.

К персику Юджина прилипла муха. Он ее проглотил. Люк взвыл от хохота.

– Муху съел! Муху съел!

Его сразу затошнило, тут же вырвало, и потом он еще долго не мог ничего есть. И старался понять, почему он проглотил муху, хотя все время видел ее.

Наступило раскаленное лето. На несколько дней приехал Гант и привез Дейзи. Как-то вечером они пили пиво в Делмарских садах. Сидя за маленьким столиком, он сквозь жару жадно смотрел на запотевшую пенящуюся пивную кружку – он представлял, как сунул бы лицо в эту прохладную пену и упился бы счастьем. Элиза дала ему попробовать, и они все покатались со смеху, глядя на его горько удивленное лицо.

Еще много лет спустя он помнил, как Гант с брызгами пены на усах могучими глотками осушал кружку – красота этого великолепного утоления жажды зажгла в нем желание сделать то же, и он подумал, что, может быть, не все пиво горькое и что, может быть, наступит время, когда и он будет приобщен к блаженству, которое дарит этот великий напиток.

Время от времени всплывали лица из прежнего полузабытого мира. Кое-кто из алтамонтцев приезжал и останавливался в доме Элизы. Однажды с внезапно нахлынувшим ужасом он увидел над собой зверское бритое лицо Джима Лайда. Это был алтамонтский шериф; он жил у подножия холма ниже Гантов. Когда Юджину шел третий год, Элиза уехала в Пидмонт, куда ее вызвали свидетельницей в суд. Она отсутствовала два дня, а он был поручен заботам миссис Лайд. Он никогда не мог забыть игривой жестокости Лайда в первый вечер.

Теперь вдруг это чудовище благодаря какому-то дьявольскому фокусу появилось вновь, и Юджин смотрел снизу вверх в гнетущее зло его лица. Юджин увидел, что Элиза стоит рядом с Джимом, и когда ужас на маленьком лице стал еще отчаяннее, Джим сделал вид, будто собирается с силой опустить руку на ее плечо. Его вопль, полный гнева и страха, вызвал смех у них обоих, и Юджин две-три слепые секунды впервые испытывал к ней ненависть – он обезумел от беспомощности, ревности и страха.

Вечером Стив, Бен и Гровер, которых Элиза сразу же отправила на заработки, возвращались с Ярмарки и продолжали возбужденно болтать, еще полные дневных событий. Тайком похихикивая, они говорили про хучи-кучи – Юджин понял, что это танец. Стив напевал однообразный навязчивый мотивчик и чувственно извивался. Они пели песню; жалобные и далекие звуки преследовали его. Он выучил песню на-

изусть:

Встретимся в Сент-Луисе, Луи,
Буду ждать я там.
Встретимся на Ярмарке с тобой,
Ты увидишь сам.
Мы станцуем хучи-кучи...

И так далее.

Иногда, лежа на солнечном одеяле, Юджин начинал осознать кроткое любопытное лицо, мягкий ласковый голос, не похожий на голоса остальных ни тембром, ни выражением, нежную смуглую кожу, черные волосы, черные глаза, деликатную, чуть грустную доброту. Он прижимался мягкой щекой к лицу Юджина, ласкал и целовал его. На коричневой шее алело родимое пятно – Юджин снова и снова удивленно трогал алую метку. Это был Гровер – самый кроткий, самый грустный из них всех.

Элиза иногда позволяла им брать его с собой на прогулки. Один раз они поехали прокатиться на речном пароходе – он спустился в салон и смотрел в иллюминатор, как совсем рядом могучая желтая змея медленно, без усилий ползла и ползла мимо.

Мальчики работали на территории Ярмарки. Они были рассыльными в месте, которое называлось гостиница «Ницца». Название зачаровало его – оно то и дело всплывало в его сознании. Иногда сестры, иногда Элиза, иногда мальчики

таскали его по движущейся чаще шума и фигур мимо богатого изобилия и разнообразия Ярмарки. Он был одурманен сказкой, когда его вели мимо Индийского чайного домика и он увидел внутри людей в тюрбанах и впервые ощутил, что-бы уже никогда не забыть, медлительный фимиам Востока. Как-то в гигантском здании, полном громового рева, он окаменел перед могучим паровозом, величайшим из виденных им чудовищ, чьи колеса стремительно вертелись в желобах, чьи пылающие топки, из которых в яму под ним непрерывно сыпался дождь раскаленных углей, вновь и вновь загружали два чумазых, обагранных огнем кочегара. Эта картина горела в его мозгу, одетая всем великолепием ада; она пугала и влекла его.

Потом он стоял у края неторопливой жуткой орбиты «колеса обозрения», брел, пошатываясь, в оглушительной сумятице Главной Аллеи, чувствовал, что его потрясенное сознание беспомощно тонет в безумной фантасмагории карнавала; он слышал, как Люк рассказывает нелепые истории о пожирателе змей, и закричал вне себя от дикого ужаса, когда они погрозили, что возьмут его с собой в балаган.

Один раз Дейзи, поддавшись кошачьей жестокости, которая таилась где-то под ее тихой кротостью, взяла его с собой в беспощадные кошмары «видовой железной дороги». Они провалились из света в бездонный мрак, а когда его первый вопль стих и вагончик сбавил скорость, они бесшумно въехали в чудовищную полутьму, населенную огромны-

ми жуткими изображениями, красными пастями дьявольских голов, искусными воплощениями смерти, бреда и безумия. Его неподготовленное сознание захлестнул сумасшедший страх, – вагончик катился из одной освещенной пещеры в другую, его сердце сморщилось в сухую горошину, а люди над ним громко и жадно смеялись, и с ними смеялась его сестра. Его сознание, только-только выбиравшееся из ирреальной чаши детских фантазий, не выдержало Ярмарки, и он был парализован убеждением, которое постоянно возвращалось к нему в последующие годы, что его жизнь – один невероятный кошмар, что хитростями и заговорщицкими уловками его вынудили отдать все надежды, чаяния и веру в себя на сладострастную пытку демонам, замаскированным человеческой плотью. В полуобмороке, посинев от удавки ужаса, он наконец выбрался на теплый и будничный солнечный свет.

Последним его воспоминанием о Ярмарке был вечер в начале осени – опять с Дейзи он сидел рядом с шофером автобуса и в первый раз прислушивался к чуду трудолюбиво урчащего мотора, пока они катили сквозь секущие полосы дождя по блестящим мостовым и мимо Каскадов, которые неустанно струили воду перед белым зданием, усаженным бриллиантами десяти тысяч лампочек.

Лето миновало. Осенние ветры шелестели отголосками отшумевшего веселья – карнавал кончился.

И дом затих – Юджин почти не видел матери, он не выходил из дома, он был поручен заботам сестер, и ему все время повторяли, чтобы он не шумел.

Однажды во второй раз приехал Гант – Гровер лежал в тифу.

– Он сказал, что съел на Ярмарке грушу, – в сотый раз повторяла Элиза. – Он пришел домой и пожаловался, что ему нехорошо. Я положила ему руку на лоб: он весь горел. «Как же это, детка, – сказала я, – с чего бы...»

Черные глаза на белом лице блестели – она боялась. Она поджимала губы и говорила с бодрой уверенностью.

– Здорово, сын, – сказал Гант, входя в спальню: когда он увидел мальчика, его сердце ссохлось.

После каждого посещения врача Элиза поджимала губы все более и более задумчиво; она жадно хватала любую случайную кроху ободрения и преувеличивала ее, но на сердце у нее было черно. Потом как-то вечером она быстро вышла из спальни мальчика, внезапно срывая маску.

– Мистер Гант, – сказала она шепотом, поджимая губы; она затрясла белым лицом, словно не в силах сказать ни слова, и вдруг стремительно договорила: – Он умер, умер, умер.

Юджин спал крепким полуночным сном. Кто-то начал трясти его, медленно высвобождая из дремоты. Вскоре он осознал себя в объятиях Хелен, которая сидела на кровати и держала его на коленях. Приблизив к нему горестное маленькое лицо, она заговорила четко и раздельно, приглушен-

ным голосом, полным странного и жадного напряжения.

– Хочешь посмотреть на Гровера? – прошептала она. – Его положили на остывальную доску.

Он задумался над тем, что это за доска: дом был полон зловещей угрозы. Хелен вышла с ним в тускло освещенную переднюю и понесла его к двери комнаты, выходявшей окнами на улицу. Там слышались тихие голоса. Хелен бесшумно открыла дверь; яркий свет падал на кровать. Юджин смотрел, и темный ужас ядом разливался в его крови. Лежавшее на кровати маленькое истощенное тело вдруг вызвало в его памяти теплое смуглое лицо и мягкие глаза, которые некогда были устремлены на него, – подобно сумасшедшему, вдруг обретшему рассудок, он вспомнил это забытое лицо, которого не видел уже давно, это странное ясное одиночество, которое больше не придет назад. О утраченный и ветром оплаканный призрак, вернись, вернись!

Элиза сидела на стуле, тяжело поникнув, опершись рукой на ладонь. Она плакала, и ее лицо искажала комичная уродливая гримаса, которая много ужаснее тихой благодати горя. Гант неловко утешал ее, но, несколько раз поглядев на мальчика, он вышел в переднюю и вскинул руки в терзающей тоске, в недоумении.

Гробовщики положили тело в корзину и унесли его.

– Ему же было ровно двенадцать лет и двадцать дней, – снова и снова повторяла Элиза, и это, казалось, мучило ее больше всего остального.

– Ну-ка, дети, пойдите поспите немного, – распорядилась она неожиданно, и тут она увидела Бена, который стоял, растерянно хмурясь, и глядел прямо перед собой своим странным старческим взглядом. Она подумала о разлуке близнецов – они появились на свет, разделенные только двадцатью минутами; ее сердце сдавила жалость при мысли об одиночестве мальчика. Она снова заплакала. Дети ушли спать. Некоторое время Элиза и Гант продолжали сидеть в комнате вдвоем. Гант спрятал лицо в мощных ладонях.

– Самый лучший из моих сыновей, – бормотал он. – Клянусь богом, он был лучшим из них всех.

В тикающем безмолвии они вспоминали его, и сердце каждого терзали страх и раскаяние; он был тихим мальчиком, а детей было много, и он прожил незамеченным.

– Я никогда не смогу забыть его родимое пятно, – прошептала Элиза. – Никогда, никогда.

Потом они вспомнили друг о друге; и внезапно оба ощутили ужас и чуждость того, что их окружало. Оба подумали об увитом виноградом доме в далеких горах, о ревущем пламени, о хаосе, проклятиях, боли, о их слепых запутанных жизнях, о бестолковой судьбе, которая здесь, в этом далеком городе, в завершение карнавала принесла им смерть.

Элиза старалась понять, зачем она сюда приехала, и искала ответа в жарких и полных отчаяния лабиринтах прошлого.

– Если бы я знала, – начала она, – если бы я знала, как это

обернется...

– Ничего, – сказал он и неуклюже погладил ее по плечу. – Клянусь богом, – прибавил он растерянно через секунду. – Очень все это странно, как подумаешь.

И теперь, когда они сидели, чуть успокоившись, в них поднялась жалость: не к себе, а друг к другу – из-за бессмысленности потерь и бестолковой путаницы случайностей, которая есть жизнь.

Гант вдруг вспомнил о своих пятидесяти четырех годах, об исчезнувшей юности, об убывающей силе, о безобразии и скверне, въевшихся в них; и его охватило спокойное отчаяние человека, который знает, что скованную цепь нельзя расклепать, вышитый узор нельзя спороть, сделанное нельзя разделить.

– Если бы я знала, если бы я знала, – сказала Элиза, и потом добавила: – Я так жалею...

Но он знал, что в эту минуту она жалела не его, и не себя, и даже не мальчика, которого бессмысленный случай подставил под бич моровой язвы, – в эту минуту воспламенения ее ясновидящей шотландской души она впервые прямо, без притворства посмотрела на неумолимые пути Необходимости, и жалела она всех, кто жил, кто живет или будет жить, раздувая своими молитвами бесполезное пламя алтарей, вопиющее их надеждами к глухому духу, посылая крохотные ракеты своей веры в далекую вечность и чая помилования,

помощи и избавления на вращающемся и забытом уголке Земли. Утрата! Утрата!

Они немедленно уехали домой. На каждой станции Гант и Элиза совершали лихорадочные паломничества к багажному вагону. Стоял серый осенний ноябрь, горные леса были простеганы сухими бурыми листьями. Листья летали по улицам Алтамонта, лежали глубокими слоями в проулках и канавах, шуршали, катились, гонимые ветром.

Трамвай, лязгая, перевалил через гребень холма. Ганты сошли – тело еще раньше отправили с вокзала домой. Когда Элиза начала медленно спускаться по склону, навстречу ей с рыданиями выбежала из своего дома миссис Таркинтон. Ее старшая дочь умерла месяц назад. Обе женщины закричали и бросились в объятия друг друга.

В гостиной Гантов гроб уже был установлен на козлах, и соседи с похоронными лицами перешептывались, ожидая их.

И все.

VI

Смерть Гровера была самой страшной раной в жизни Элизы – ее мужество сломилось, медленный, но могучий порыв к свободе сразу оборвался. Когда она вспоминала далекий город и Ярмарку, ее плоть словно разлагалась – она в ужасе

никла перед скрытым противником, который сразил ее.

С ожесточением горя она замкнулась в своем доме и семье, опять приняла жизнь, от которой была готова отречься, заполняла день хлопотами и пыталась в труде испытать забвенье. Но в чащах памяти внезапным, неуловимым фавном мелькало смуглое утраченное лицо, она вспоминала родимое пятно на его коричневой шее и плакала.

Тянулась угрюмая зима, и медленно рассеивались тени. Гант возродил ревущее пламя в плите и камине, изобильный ломящийся стол, щедрый и взрывчатый ритуал каждодневной жизни. Прилив их былого жизнелюбия поднимался все выше.

И с уходом зимы пронизанный вспышками сумрак в мозгу Юджина начал понемногу светлеть, дни, недели, месяцы начали слагаться в ясную последовательность; его сознание очнулось от сумятицы Ярмарки – жизнь распахнулась в своей конкретности.

Уютно укрытый надежной и понятной теперь силой родного дома, он лежал на туго набитом животике перед жгучим буйством огня и ненасытно впивался в толстые тома из книжного шкафа, наслаждаясь благоуханной затхлостью страниц и резким запахом нагретых переплетов. Особенно он любил три огромных переплетенных в телячью кожу фолианта «Всемирной истории» Ридпата. Эти неисчислимые страницы были иллюстрированы сотнями рисунков, гравюр и литографий, и, еще не научившись читать, он зри-

тельно прослеживал движение столетий. Больше всего ему нравились картинки, изображавшие битвы. Упоенный воем ветра, терпящего поражение у стен дома, и громом могучих сосен, он предавался темной буре, выпуская на волю таящегося во всех людях ненасытного сумасшедшего дьявола, который жаждет мрака, ветра и неизмеримой скорости. Прошлое разворачивалось перед ним отдельными колоссальными видениями; он сплетал бесконечные легенды вокруг картинок, на которых цари Египта мчались на колесницах, запряженных летящими конями, и какие-то древние воспоминания словно пробуждались в нем, когда он смотрел на сказочных чудовищ, на шнурочные бороды и огромные звериные туловища ассирийских царей, на стены Вавилона. Его мозг был переполнен картинками – Кир, ведущий войска, лес копий македонской фаланги, сломанные весла и хаос кораблей при Саламине, пиры Александра, бушующая рыцарская сеча, разлетающиеся вдребезги копья, боевой топор и меч, строй ландскнехтов, стены осажденного города, валящиеся осадные лестницы с гроздьями солдат, швейцарец, кинувшийся на пики, атаки конницы и пехоты, дремучие леса Галлии и легионы Цезаря. Гант сидел позади него, бурно раскачиваясь в крепкой качалке, и время от времени сильно и метко сплевывал табачный сок через голову сына в шипящий огонь.

Или же Гант со звучной и витиеватой выразительностью декламировал ему отрывки из шекспировских трагедий: ча-

ще всего он слышал надгробную речь Марка Антония, монолог Гамлета, сцену пира из «Макбета» и сцену Отелло и Дездемоны перед тем, как он ее задушил. Или же он декламировал стихи, которые во множестве цепко хранила его восприимчивая к ним память. Особенно он любил: «О, почему дух смертного так горд» («Любимое стихотворение Линкольна», – имел он обыкновение повторять); «Мы погибли!»²⁰ – зашатавшись, так воскликнул капитан»; «Помню, помню дом родимый»; «Мальчик стоял на пылающей палубе» и «В полулиге, в полулиге, в полулиге впереди».

Иногда он заставлял Хелен декламировать: «И школьный дом еще стоит, как нищий у дороги; плющом, как прежде, он увит...»

Потом она сообщала, как травы уже сорок лет вырастают над головой девушки и как седовласый старик узнал в суровой школе жизни, что мало было таких, кто не хотел возвышаться над ним, потому что, видите ли, был он ими любим, и Гант с тяжелым вздохом говорил, покачивая головой:

– Э-эх! Лучше не скажешь!

Семья пребывала в самом расцвете и полноте совместной жизни. Гант изливал на нее свою брань, свою нежность и

²⁰ «Мы погибли...» – Стихотворение американского поэта Дж. Филдса (1817–1881) «Баллада о буре». «Мальчик стоял...» – стихотворение английской поэтессы Дороти Хеманс (1793–1835) «Касабьянка». «В полулиге...» – стихотворение английского поэта А. Теннисона (1809–1892) «Атака бригады легкой кавалерии». «И школьный дом еще стоит...» – стихотворение американского поэта Джона Уитьера (1807–1892) «В школьные дни».

изобилие съестных припасов. Они научились с нетерпением ждать его появления, потому что он приносил с собой буйную любовь к жизни и обрядам. По вечерам они смотрели, как он размашистым бодрым шагом выходит из-за угла внизу, и внимательно следили за неизменным ритуалом его действий с той минуты, когда он бросал провизию на кухонный стол, вновь разжигал огонь, с которым всегда начинал воевать, едва войдя, и щедро скармливал ему поленья, уголь и керосин. Покончив с этим, он снимал сюртук и энергично умывался в тазу, – его огромные ладони терли жесткую вечернюю щетину на бритых щеках со специфическим мужским и очищающим шорохом наждачной бумаги. После этого он прижимался спиной к косяку и чесал ее, энергично двигаясь из стороны в сторону. Покончив с этим, он свирепо выплескивал в завывающее пламя еще полбидона керосина и что-то бормотал себе под нос.

Затем он откусывал порядочный кусок крепкого яблочного табака, который всегда лежал на каминной полке, и начал бешено метаться по комнате, готовя очередную филиппику и не замечая своего ухмыляющегося потомства, которое следило за всем этим церемониалом с радостным возбуждением. В конце концов он врывался на кухню и с сумасшедшим воплем обрушивал на Элизу свои обличения, сразу беря быка за рога.

Благодаря постоянной и неизменной практике его буйное и прихотливое красноречие до некоторой степени приобре-

ло стройность и выразительность классической риторики – его уподобления были невероятны, и порождались они духом простецкой насмешки, а присущее всей семье (вплоть до самого младшего ее члена) острое восприятие смешного получало ежедневно все новую пищу. Дети теперь ждали вечерних появлений отца с ликующим нетерпением. И даже сама Элиза, медленно и с трудом залечивавшая свою жестокую рану, черпала в них некоторую поддержку. Однако в ней по-прежнему жил страх перед его запоями и где-то в глубине пряталось упрямое и непрощающее воспоминание о прошлом.

Но с течением зимы, по мере того как смерть медленно снимала свою руку с их сердец под натиском буйной и целительной веселости детей, этих всемогущих божков бегущего мгновения, она вновь начинала обретать подобие надежды. Их жизнь замыкалась в них самих – они и не подозревали о своем одиночестве, но знакомы с ними были почти все, а настоящих друзей у них не было вовсе. Их положение было особым: если бы они поддавались сословному определению, то их, пожалуй, пришлось бы отнести к зажиточному мещанству, однако ни Данкены, ни Таркинтонны, ни остальные их соседи, а также и все прочие их знакомые в городе никогда не были по-настоящему близки с ними, никогда не приобщались сочным краскам их жизни – потому что они разбивали все рамки размеренной упорядоченности, потому что в них крылось сумасшедшее, пугающее своеобразие, о

котором они не догадывались. Дружба же с избранными – людьми вроде Хильярдов – была столь же невозможна, даже если бы они обладали нужными для этого дарованиями и искали ее. Но они ими не обладали и не искали ее.

Гант был великим человеком, а не чудачком, потому что чудачество не поклоняется жизни с иступленной преданностью.

Когда он ураганом проносился по дому, меча накопленные грома, дети весело бежали за ним и восторженно взвизгивали, когда он сообщал, что Элиза, «извиваясь, выскочила на него из-за угла, как змея на брюхе» или когда, вернувшись с мороза, он обвинял ее и всех Пентлендов в злокозненном господстве над стихиями.

– Мы все замерзнем, – вопил он, – мы все замерзнем в этом адском, проклятом, жестоком и богом забытом климате. А брату Уиллу есть до этого дело? А брату Джиму есть до этого дело? А Старому Борову, твоему презренному папаше, было до этого дело? Боже милосердный! Я попал в лапы доподлинных дьяволов, более злобных, более свирепых, более ужасных, чем звери полевые. И эти исчадия ада будут сидеть и смаковать мои смертные муки, пока я не испущу дух!

Несколько минут он расхаживал по прачечной, примыкавшей к кухне, и что-то бормотал себе под нос, а Люк, ухмыляясь, подбирался поближе.

– Но жрать они умеют! – вопил он, внезапно врываясь в кухню. – Жрать они умеют, когда их кто-нибудь кормит! Я до

смертного часа не забуду Старого Борова! Хрясть! Хрясть! Хрясть!

Они все покатывались от хохота, потому что на его лице появлялось выражение неопикуемой жадности, и он продолжал визгливо и медленно, якобы изображая покойного майора:

– «Элиза, с твоего разрешения я возьму еще кусочек курочки!» А сам запихнул ее себе в глотку с такой поспешностью, старый негодяй, что нам пришлось его унести от стола на руках!

Когда его обличения достигали головокружительных высот, мальчики хохотали как одержимые, а Гант, втайне польщенный, исподтишка посматривал по сторонам, и в уголках его узкогубого рта пряталась усмешка. Элиза тоже смеялась, а потом, оборвав смех, говорила грозно:

– Убирайтесь отсюда! На сегодня с меня хватит ваших представлений!

Иногда все это приводило его в такое победоносно добродушное настроение, что он пытался неуклюже приласкать Элизу и неловко обнимал ее одной рукой за талию, а она сердилась, смущалась и, вырываясь, хотя и не очень энергично, говорила:

– Оставьте. Ну оставьте же. Время для этого давно прошло.

Ее белая смущенная улыбка была одновременно и жалкой и смешной – где-то совсем близко за ней прятались слезы.

При виде этих редких, неестественных проявлений нежности дети неуверенно смеялись, переминались с ноги на ногу и говорили:

– Ну, пап, не надо!

Юджин впервые осознал одну из подобных сцен, когда ему шел пятый год, – в нем колючими сгустками поднялся стыд, царапая горло; он конвульсивно дернул шеей и улыбнулся отчаянной улыбкой, как улыбался впоследствии, когда смотрел на скверных клоунов или на актеров, разыгрывающих сладенькую сентиментальную сцену. И с этих пор всякая нежность между ними вызывала в нем это первозданное мучительное чувство унижения: проклятия, вопли, грубость стали для них настолько привычными, что даже намек на ласку воспринимался как безжалостная аффектация.

Однако по мере того, как медлительные месяцы, замутненные горем, начали проясняться, в Элизе постепенно вновь пробуждалось могучее врожденное стремление к собственности и свободе, а вместе с этим возобновилась и бывшая скрытая борьба их противоположных натур. Дети подрастали, у Юджина уже завелись приятели – Гарри Таркинтон и Макс Айзекс. Женская природа в ней угасала, как зола.

Одно время года сменялось другим, и вновь разгорался старый раздор из-за налогов, с которыми было связано владение землей. Возвращаясь домой с налоговой повесткой в руке, Гант кричал с искренним бешенством:

– Во имя бога, женщина! К чему это приведет? Не пройдет

и года, как мы все окажемся в богадельне. О господи! Я очень хорошо знаю, чем все это кончится. Я разорюсь, все наши деньги до последнего гроша перекочат в карманы этих вымогателей, а остальное пойдет с молотка. Да будет проклят тот день, когда я был таким дураком, что купил первый клочок земли. Помяни мое слово, мы будем хлебать благотворительный супчик еще прежде, чем кончится эта ужасная, эта жуткая, эта адская и проклятая зима!

Элиза задумчиво поджимала губы и внимательно читала графу за графой, а он глядел на нее с невыразимой мукой на лице.

– Да, и вправду ничего хорошего нет, – говорила она и прибавляла: – Жаль, что вы не послушали меня прошлым летом, мистер Гант, когда был случай избавиться от усадьбы Оуэнби, которая не приносит ни гроша, и приобрести взамен те два дома на Картер-стрит. Мы бы получали за них аренды по сорок долларов в месяц, начиная с того самого времени.

– Не желаю больше приобретать никакой земли до самой смерти! – вопил он. – Из-за нее я был бедняком всю мою жизнь, а когда я умру, им придется выделить мне даром шесть футов на кладбище для нищих!

Тут он принимался мрачно философствовать о тщете человеческих усилий, о том, что и богатые и бедные одинаково упокоятся в могиле, о том, что «с собой все равно ничего не возьмешь», завершая свою речь чем-нибудь вроде: «Да что говорить! Конец-то один, куда ни кинь!»

Или он начинал декламировать строфы из «Элегии» Грея²¹, применяя эту энциклопедию оптовой меланхолии до-вольно невпопад:

...ждут часа неизбежного равно,
И лишь к могиле славы путь ведет.

Но Элиза угрюмо оберегала то, чем они владели.

При всей своей ненависти к земельной собственности Гант гордился тем, что живет под собственным кровом, да и вообще все, что ему принадлежало, было освящено привычкой и служило для его комфорта. Он не стал бы отказываться от ничем не обремененного богатства – от крупных сумм в банке и в кармане, возможности путешествовать со всеми удобствами и роскошью и жить на широкую ногу. Ему нравилось носить при себе большие суммы наличными – Элиза очень не одобряла эту его манеру и постоянно упрекала его за нее. Раза два, когда он был пьян, его дочиста обирали. Под влиянием виски он имел обыкновение размахивать пачкой банкнот и раздавать их своим детям – десять, двадцать, пятьдесят долларов каждому, сопровождая это действие слезливыми выкриками: «Берите! Берите все, чтобы черт их побрал!» Но на следующий день он с такой же настойчивостью

²¹ «Элегия» Грея – Грей Томас (1716–1771) – английский поэт. Славу ему принесла «Элегия, написанная на сельском кладбище» (1751), в которой воплощены основные черты лирики сентиментализма – меланхолия, созерцательность, мысль о смерти, уравнивающей великих и малых, счастливых и несчастных.

требовал деньги обратно. Обычно Хелен заранее забирала деньги у упирающихся братьев, а на следующий день возвращала их отцу. Ей шел шестнадцатый год, но ростом она была уже почти в шесть футов – высокая, очень худая девочка с большими руками и ногами. За крупными чертами ее скуластого лица пряталось постоянное, почти истерическое возбуждение.

Близость между ней и отцом крепла с каждым днем – она была такой же нервной, вспыльчивой, раздражительной и несдержанной на язык, как и он. Его она обожала. Он же заметил, что любовь Хелен к нему и его к ней все больше и больше сердит Элизу, а потому всячески подчеркивал и преувеличивал их взаимную привязанность, особенно когда бывал пьян, и его яростное отвращение к жене и непристойные жалобы на нее демонстративно уравнивались слезливой покорностью, с которой он выполнял требования дочери.

И обида Элизы усугублялась сознанием, что самая сущность его раскрывалась именно в те минуты, когда любое ее движение приводило его в бешенство. Она была вынуждена прятаться от него, запирались у себя в комнате, а ее младшая дочь победоносно брала над ним верх.

Отношения Хелен и Элизы портились все больше – они разговаривали друг с другом резко и грубо, болезненно ощущали присутствие друг друга в тесноте дома. И причина была не только в тайном соперничестве из-за Ганта: девоч-

ку, как и его самого, раздражали те же особенности натуры Элизы – иногда Хелен приводила в бешенство медлительная речь матери, постоянно поджигаемые губы, ее спокойное самодовольство, звук ее голоса, ее глубокое невозмутимое терпение.

Ели они гомерически. Юджин уже начал замечать соответствия между едой и временами года. Осенью в подвал закатывались бочки огромных зимних яблок. Гант покупал у мясника целые свиные туши и, возвратившись домой пораньше, сам засаливал их, надев длинный рабочий фартук и закатав рукава на жилистых волосатых руках. В кладовой висела копченая грудинка, внушительные бочонки были полны муки, глубокие темные полки ломились под тяжестью банок с вишнями, персиками, сливами, айвой, яблоками, грушами. Все, чего он касался, наливалось сочной пахучей жизнью – на его весенних грядках влажной черной земли, вскопанной под плодовыми деревьями, благоденствовали огромные курчавые листья салата, которые легко выдирались из чернозема, усеивавшего их хрустящие черешки мелкими черными комочками, пухлая красная редиска, тяжелые помидоры. На траве валялись лопнувшие сочные сливы, толстые стволы его вишен источали янтарь вязкой смолы; его яблони гнулись, обремененные зеленой ношей. Земля плодоносила для него, как широкобедрая женщина.

Весна принесла с собой прохладные росистые утра, порывистые ветры, пьянящие метели цветочных лепестков, и

среди этого чародейства Юджин впервые ощутил щемящую тоску и манящие обещания времен года.

Полуночь они вставали в доме, наполненном ароматом стряпни, и садились за благоухающий стол, на котором теснились яичница с мозгами, ветчина, горячий поджаренный хлеб, печеные яблоки, тонущие в густом сиропе, мед, золотистое масло, бифштексы, обжигающий рот кофе. Или же на нем красовались груды оладьев, красновато-желтая паточка, душистые коричневые колбаски, миска влажных вишен, сливы, жирная сочная свинина, варенье. Они плотно ели и за обедом – огромный кусок жаркого, обильно политые маслом бобы, нежные горячие кукурузные початки, толстые красные ломтики помидоров, жестковатый пряный шпинат, теплый желтый кукурузный хлеб, воздушные бисквиты, большое блюдо с запеканкой из персиков и яблок, сдобренных корицей, нежная капуста, глубокие стеклянные вазы с консервированными фруктами – вишнями, грушами, персиками. За ужином они ели бифштексы, шкварки, обжаренные в яйце на сливочном масле, свиные отбивные, рыбу, жареных цыплят.

Для пиршеств в День благодарения и на Рождество покупались и откармливались четыре жирные индейки: Юджин несколько раз в день наполнял их кормушки лущеной кукурузой, но отказывался присутствовать при том, как их резали, – к этому времени их веселое кулдыканье западало ему в сердце. Элиза начинала печь и варить еще задолго до

праздника, и вся энергия семьи посвящалась великому церемониалу пиршества. За день-два от бакалейщика начинали прибывать дополнительные яства – к привычной еде добавлялось волшебство чужеземных лакомств и плодов: глянцеви́тые липкие финики, прохладные мясистые винные ягоды, плотно уложенные в маленьких коробочках брюшко к брюшку, матовый изюм, всяческие орехи (миндаль, пекан, бразильские, грецкие), мешочки с разным конфетами, груды желтых флоридских апельсинов, мандарины – острые, резкие, томительные запахи.

Восседая перед индейкой или жарким, Гант гремел ножом о нож и накладывал на каждую тарелку гигантские порции. Юджин пировал на высоком стульчике рядом с отцом и набивал свой переполненный животик, пока он не натягивался, как барабан, – бдительный родитель только тогда разрешал ему отложить вилку, когда его желудок больше не проминался под сильным толчком могучего гантовского пальца.

– Вот тут есть еще пустое местечко! – вопил отец и наваливал на выскобленную тарелку своего малолетнего сына новый ломоть мяса. То, что их пищеварение продолжало функционировать после подобных сокрушительных натисков, делало честь выносливости их организма и кулинарному искусству Элизы.

Гант ел жадно и быстро. Он очень любил рыбу и, когда ел ее, обязательно давился костью. Это случалось сотни раз, но каждый раз он внезапно поднимал голову от тарелки с воп-

лем мучительного ужаса и продолжал стонать и вскрикивать, пока десяток кулаков молотил его по спине.

– Боже милосердный! – охал он наконец. – Я уж думал, что на этот раз мне пришел конец.

– Хоть присягнуть, мистер Гант! – сердилась Элиза. – Ну почему вы не смотрите в свою тарелку? Не ели бы так быстро, и не давились бы.

Дети, все еще возбужденные, с облегчением возвращались на свои места.

Он питал истинно немецкую любовь к изобилию – вновь и вновь он описывал гигантские забитые зерном амбары пенсильванцев, купающихся в избытке.

По дороге в Калифорнию он был зачарован в Новом Орлеане дешевизной и разнообразием тропических фруктов – уличный разносчик предложил ему огромную гроздь бананов за двадцать пять центов, и Гант тут же ее купил, а потом на пути через континент никак не мог понять, зачем он купил эти бананы и что дальше с ними делать.

VII

Эта поездка в Калифорнию была последним большим путешествием в жизни Ганта. Он совершил его через два года после возвращения Элизы из Сент-Луиса, когда ему было пятьдесят шесть лет. В его огромном теле уже начинались процессы разрушения и смерти. Невысказанное, неоформ-

ленное, в нем жило сознание, что в конце концов он попал в капкан жизни и оседлости, что он проигрывает борьбу со страшной в своем упорстве волей, которая хотела владеть землей, а не познавать ее. Это была последняя вспышка старой жажды, которая когда-то темнела в маленьких серых глазах и уводила мальчика в новые края и к кроткой каменной улыбке ангела.

И, пространствовав девять тысяч миль, он в пасмурный день на исходе зимы вернулся в унылую нагую темницу гор.

За восемь с лишним тысяч дней и ночей, прожитых с Элизой, сколько раз он трезво и перипатетически воспринимал окружающий мир²², бодрствуя от часа до пяти часов утра? Таких ночей было не больше девятнадцати: та, когда родилась Лесли, первая дочь Элизы, и та, когда двадцать шесть месяцев спустя она умерла от холеры; та, когда умер майор Том Пентленд, отец Элизы, – в мае 1902 года; та, когда родился Люк; та, когда он ехал в поезде в Сент-Луис навстречу смерти Гровера; та, когда в «Плейхаусе» (в 1893 году) умер дядюшка Тэддес Ивенс, дряхлый и благочестивый негр; та, когда они с Элизой в марте 1897 года отдавали последний долг у смертного ложа старого майора Айзекса; те три в конце июля 1897 года, когда уже никто не ждал, что Элиза, превратившаяся в костяк, обтянутый белой кожей,

²² ...перипатетически воспринимал окружающий мир... – перипатетики – последователи древнегреческого философа Аристотеля (384–322 гг. до н. э.), утверждавшего материалистический взгляд на мир в противовес идеалистическому учению Платона (427–347 гг. до н. э.).

все-таки выздоровеет от тифа; и еще – в начале апреля 1903 года, когда в тифу при смерти лежал Люк; та, когда умер Грили Пентленд, двадцатишестилетний прирожденный золотушный, туберкулезный скрипач, пентлендовский каламбурист, по мелочам подделывавший чеки и отсидевший полтора месяца в тюрьме; те три ночи, с одиннадцатого по четырнадцатое января 1905 года, когда ревматизм распинал его правый бок, а он, участник собственного горя, вопиял, понося себя и бога; и еще в феврале 1896 года у смертного ложа, на котором лежало тело одиннадцатилетнего Сэнди Данкена; и еще в сентябре 1895 года – мучимый рассказом и стыдом в городской каталажке; в палате клиники Кили в Пидмонте, штат Северная Каролина, 7 июня 1896 года; и 17 марта 1906 года, между Ноксвиллом, штат Теннесси, и Алтамонтом, в ночь завершения семинедельной поездки в Калифорнию. Каким же показался тогда Ганту Ски-тальцу край, где стоял его дом? Сочился серый свет, тая над порожистой речкой, дым паровоза полосами холодного дыхания ложился на зарю, горы были большими, но оказались ближе, ближе, чем он думал. И среди гор лежал сырой иссохший Алтамонт, унылое зимнее пятно. Он осторожно сошел в убогом Игрушечном Городе, замечая, как при его гулливеровском появлении все становится приземистым, близким и съезжившимся. Он был большим, все было маленьким; аккуратно прижимая локти к бокам, он придавил своей тяжестью натопленный игрушечный трамвай, тоскливо глядя

на грязную, оштукатуренную, инкрустированную камешками стену отеля «Писга», на дешевые кирпичные и дощатые склады Вокзальной улицы, на рыжую фанерную недолговечность железнодорожной гостиницы «Флоренция», подрагающую от раскормленного блуда.

Такие маленькие, маленькие, маленькие, думал он. А я не замечал. Даже здешние горы. Мне скоро будет шестьдесят.

Его желтоватое лицо со впалыми щеками было унылым и испуганным. Когда трамвай, взвизгнув на стрелке разъезда, остановился, он с угрюмой грустью уставился на плетеное сиденье; вагоновожатый, охрипший от курения, отодвинул дверь и вошел в вагон, держа ручку контроллера. Он задвинул дверь и сел, позевывая.

– Где это вы были, мистер Гант? – спросил он.

– В Калифорнии, – ответил Гант.

– То-то я гляжу, вас что-то не видно, – сказал вагоновожатый.

Теплый электрический запах мешался с запахом раскаленной горелой стали.

Мертв – кроме двух месяцев! Мертв – кроме двух месяцев! О господи! Вот к чему все пришло. Боже милосердный, этот гнусный, жуткий, проклятый климат. Смерть, смерть! Может быть, еще не поздно? Край жизни, край цветов. Каким прозрачным было прозрачное зеленое море. И столько в нем плавают рыб. Санта-Каталина. Кто живет на Востоке, должен ехать на Запад. Как я очутился тут? Южнее, южнее,

все время южнее, а знал ли я – куда? Балтимор, Сидней... во имя божье – почему? Лодочка со стеклянным дном, чтобы можно было смотреть вниз. Она приподняла юбки, когда спускалась. Где она сейчас? Два яблочка.

– Джим-то Боуэлс помер, пожалуй, пока вас не было, – сказал вагоновожатый.

– Что?! – возопил Гант. – Боже милосердный, – печально поахал он, снижая тон, и спросил: – А от чего?

– Воспаление легких, – сказал вагоновожатый. – Поболел четыре дня – и все.

– Да как же это? Он ведь был здоровяк в расцвете лет, – сказал Гант. – Я же с ним перед самым отъездом разговаривал, – солгал он, навеки внушая себе, что так оно и было. – Он же и не болел никогда.

– Пришел в пятницу домой простуженный, – сказал вагоновожатый, – а во вторник уже помер.

Рельсы завибрировали нарастающим гуденьем. Толстым пальцем перчатки он протер дырочку в мохнатом слое инея на окне и как сквозь туман увидел рыжий срез откоса. В конце разъезда возник другой трамвай и с режущим визгом свернул на стрелке.

– Да, сэр, – сказал вагоновожатый, отодвигая дверь, – этого уж заранее не угадаешь, чей черед следующий. Сегодня человек жив, а завтра нет его. И бывает, что первыми ноги протягивают те, кто покрепче.

Он задвинул за собой дверь и включил ток сразу на три

деления. Трамвай рванулся с места, как заведенная игрушка.

Во цвете лет, думал Гант. Вот и я когда-нибудь так. Нет, другие, не я. Матери скоро восемьдесят шесть. Ест за четверых, писала Огеста. Надо послать ей двадцать долларов. Вот сейчас – в ледяной глине, замороженный. Долежит до весны. Дождь, тление, прах. Кто ставил памятник? Брок или Сол Гаджер? Отбивают мой хлеб. Покончить со мной – с чужаком. Мрамор из Джорджии, основание из песчаника – сорок долларов.

Любимый друг покинул нас,
Но смолкни, скорби стон:
Нас подкрепляет веры глас —
Он жив, не умер он.

Четыре цента буква. За такую работу это еще дешево, бог свидетель. Мои буквы самые лучшие. Мог бы стать писателем. И рисовать люблю. А мои? Я бы уже знал, если бы что-нибудь... он бы мне сказал. Со мной этого не будет. Выше пояса все в порядке. Уж если что и случится, то ниже. Там все разъело. Дырки от виски по всем кишкам. У Кардьяка в приемной на картинках больной раком. Ну, это должны подтвердить несколько врачей. А не то – уголовное преступление. Ну, да если самое худшее – вырезать, и все тут. Убрать, пока он не разросся. И живи. Старику Хейту сделали окошко в брюхе. Выгребли в чашку. Макгайр – проклятый мясник. Но он все может сделать. Отрежет здесь, пришьет там.

Этому, из Хомини, приставил взамен носа кусочек берцовой кости. От настоящего не отличить. Наверное, и это можно. Перерезать все веревочки, потом опять связать. Пока ты ждешь. Работа прямо для Макгайра – раз, два, и готово. Так и будет. Когда меня не будет. Вот так: ничего об этом не известно – но убить тебя может. У Бычихи слишком велики. До весны уже недалеко. Вот и умрешь. Маловаты. А в голове черт знает что. Полные чаши бычьего молока. Юпитер и эта²³... как ее там.

Теперь на западе он увидел вершину Писги и западный кряж. Там было больше простора. Горы в солнечной стороне громоздились к солнцу. Там было что охватить глазом – туманный, пронизанный солнцем размах, мир, изгибающийся и открывающийся в другой мир гор и равнин, туда, на запад. Запад для желаний, Восток для дома. На востоке, всего в миле, над городом заботливо нависали горы. Бердсай, Сансет. Над закопченно-белым особняком судьи Бака Севьера на фешенебельной стороне Писга-авеню в небо густым курчавым столбом валил дым, над негритянскими лачугами внизу в овраге курились жидкие дымки. Завтрак. Жареные мозги и яичница с полосатыми шкварками мягкой грудинки. Проснитесь, проснитесь, проснитесь, горные свиньи! А она

²³ *Юпитер и эта...* – имеется в виду один из мифов о Зевсе (у римлян – Юпитере), который, влюбившись в смертную девушку Европу, похитил ее, для чего превратился в быка.

еще спит, неряшливо завернувшись в три старых одеяла в душном, затхлом, желтоватом холоде. Потрескавшиеся руки тошнотворно сладковаты, наглицеринены. Пузырьки с сургучом на горлышках, шпильки, обрывки бечевки. Входить к ней сейчас не позволено. Стыдится.

Разносчик газет номер семь кончил свой обход на углу Вайн-стрит, как раз когда трамвай остановился, сворачивая с Писга-авеню к сердцу города. Мальчишка ловко сложил, согнул и расплющил свежие газетные листы и запустил увесистый кирпичик за тридцать ярдов на крыльцо Шиллса, ювелира. Газеты звонко шлепнулись об стенку и отскочили. А разносчик зашагал с утомленным облегчением в гущу времени навстречу двадцатому веку, с наслаждением ощущая призрачный поцелуй отсутствующей ноши на своем правом, теперь уже свободном, но все еще перекошенном плече.

Лет примерно четырнадцать, думал Гант. Это будет весна 1864 года; мулы в Гаррисбергском лагере²⁴. Тридцать долларов в месяц и довольствие. От солдат воняло хуже, чем от мулов. Я спал на третьем ярусе нар, Джил на втором. Убери свое проклятое копыто из моего рта. Оно побольше, чем у мула. Это сказал солдат. Если оно тебе наподдаст, сукин ты сын, так ты пожалеешь, что это не мул, сказал Джил. Потом они получили свое. Нас отправила мать. Выросли уже, пора

²⁴ *Мулы в Гаррисбергском лагере...* – Гаррисберг – столица Пенсильвании. В начале Гражданской войны там был организован лагерь, в котором формировались отряды северян. Фицхью Ли (1835–1905) – племянник Роберта Ли (см. коммент. к с. 13). Во время Гражданской войны командовал кавалерийской бригадой.

работать, сказала она. Родился в самом сердце мира – почему здесь? В двенадцати милях от Геттисберга. Они шли с Юга. В краденых цилиндрах. Без сапог. Дай напиток, сынок. Это был Фицхью Ли. На третий день нас разгромили. Чертов Овраг. Кладбищенский Гребень. Смердные груды рук и ног. В ход шли и мясницкие пилы. Стал этот край еще богаче? Огромные амбары – больше домов. Мы все большие едоки. Я спрятал скотину в чаще. Белл Бойд²⁵ – красавица, шпионка конфедератов, четыре раза приговорена к расстрелу. Вытаскивала у него депеши из кармана, пока танцевала с ним. Потаскушка, должно быть.

Свиные шкварки и горячий хрустящий хлеб. Надо позаботиться. Целая свиная туша или ничего. Всегда был хорошим добытчиком для семьи. А для себя ничего не сделал.

Трамвай, все еще карабкаясь вверх, полз мимо дощатого непрочного рыже-серого похабства Скайленд-авеню.

Американская Швейцария. Страна Небес. Иисусе Христе! Старик Боумен говорил, что будет богачом. До Пасаде-ны все застроено. Уехать туда. Слишком поздно. Пожалуй, он был в нее влюблен. Неважно. Слишком стар. Она ему нужна там. Седина в бороду... Белые брюшки рыб. Был бы ручей, чтобы омыться дочиста. Снова стать чистым, как дитя. Новый Орлеан в тот вечер, когда Джим Корбетт нокаути-

²⁵ *Белл Бойд (1843–1900)* – шпионка южан. В 1862-м и 1863 годах арестовывалась по обвинению в шпионаже, но была выпущена за отсутствием улик. После войны стала актрисой, а кроме того, совершала турне по стране, рассказывая, как она собирала сведения для южан.

ровал Джона Салливена. Человек, который хотел меня обокрасть. Одежда и часы. Пять кварталов по Канал-стрит в одной ночной рубашке. Два часа ночи. Бросил кучей – часы упали сверху. Драка в моем номере. На матч в город съехались все мошенники и воры. Будет о чем рассказать. Полицейский через полчаса. Выходят на улицу и упрашивают тебя зайти. Француженки. Креолки. Богатая красавица креолка²⁶. Пароходные гонки. Капитан, они нагоняют. Я не потерплю, чтобы мы проиграли. Дрова кончились. Топите око-роками, сказала она гордо. Произошел ужасный взрыв. Он схватил ее, когда она в третий раз шла ко дну, и поплыл к берегу. Они пудрятя перед витриной и причмокивают тебе. Для стариков, может, так и лучше. Как у них там с нашим делом? Хоронят только над землей. На глубине в два фута уже вода. И они гниют. Почему бы и нет? И какие заказы. Италия. Каррара и Рим. А Брут²⁷ – весьма достойный человек. Что такое креолка? Французская и испанская кровь? А может, есть и негритянская? Спросить у Кардыяка?

Трамвай ненадолго остановился перед трамвайным депо на виду у своих отдыхающих собратьев. Потом он неохотно расстался с пронизанной энергией атмосферой «Электрической компании», резко свернул на серую замерзшую ленту Хэттон-авеню, которая мягко уходила вверх, вливаясь в без-

²⁶ *Красавица креолка...* – далее следует эпизод из романа американского писателя Майн Рида (1818–1883) «Квартеронка» (1856).

²⁷ *А Брут...* – фраза из монолога Марка Антония (см. коммент. к с. 64).

молвие Главной площади.

О господи! Как сейчас помню. Старик предложил мне весь участок за тысячу долларов через три дня после того, как я сюда приехал. Был бы сейчас миллионером, если бы...

Дребезжа на восьмидесятиградусовом склоне перед площадью, вагон проехал мимо «Таскиджи». Пухлые глянцево-потертые кожаные стулья выстроились между сверкающими рядами только что вычищенных медных плевательниц, которые припадали к земле по обеим сторонам входной двери перед толстыми зеркальными стеклами, кончавшимися в неприличной близости от тротуара.

Сколько жирных мужских задов полировало эту кожу. Как рыбы в аквариуме. Изжеванная мокрая сигара коммивояжера, плевком повисшая на сальных губах. Ест глазами всех женщин. Не стоит оглядываться. Себе же в убыток.

Негр-коридорный сонно водил по коже серой тряпкой. Внутри перед огнем, пляшущим на поленьях, ночной портье лежал, утопая в уютном брюхе кожаного дивана.

Трамвай выехал на площадь, задержался на пересечении с юго-северной линией и остановился на северной стороне мордой к востоку. Расширив проталинку в замерзшем окне, Гант поглядел на площадь. В бледно-сером свете морозного утра она смыкалась вокруг него, замороженная и неестественно маленькая. Он внезапно ощутил судорожную тесную неподвижность площади – это было единственное место в мире, которое копошилось, развивалось и постоянно ме-

нялось у него на глазах, и его охватил тошнотный зеленый страх, морозом стиснувший сердце, потому что средоточие его жизни выглядело теперь таким съежившимся. Он почти не сомневался, что стоит ему раскинуть руки, и они упрутся в кирпичные стены трех-четырёхэтажных домов, которые неряшливо обрамляли площадь.

Теперь, когда он наконец был прочно прикован к земле, на него внезапно обрушилось все, что накопилось в нем за два месяца, – все, что он видел, слышал, ел, пил и делал. Безграничный простор, леса, поля, прерии, пустыни, горы, побережье, убегаящее назад под его взглядом; твердая земля, качавшаяся перед его глазами на станциях; незабытые призраки – суп из бамии, устрицы, огромные колюшки во Фриско, тропические фрукты, напоенные бесконечной жизнью, непрерывное плодоношение моря. И только теперь, здесь, в этой нереальности, в этом противоестественном видении того, что он знал в течение двадцати лет, жизнь утратила свой напор, движение, цвет.

Площадь была проникнута жуткой конкретностью сна. Напротив, в юго-восточном ее углу, он увидел свою мастерскую: свою фамилию, намалеванную большими грязно-белыми лупящимися буквами по кирпичу над карнизом: «У. О. Гант. Памятники, могильные плиты, кладбищенские принадлежности». Это был словно снящийся ад, когда человек видит собственное имя, горящее в гроссбухе Сатаны; это было словно снимающаяся смерть, когда тот, кто пришел на по-

хороны, видит в гробу самого себя, или же, присутствуя на казни, понимает, что вешают его.

В трамвай тяжело влез сонный негр, истопник из гостиницы «Мейнор», и устроился на одном из задних сидений, отведенных для людей с его цветом кожи. Через секунду он начал легонько похрапывать, раздувая толстые губы.

В восточном конце площади по ступеням городской ратуши медленно спустился Большой Билл Месслер, не застегнув до конца жилета на перепоясанном брюхе, и с деревенской неторопливостью звучно зашагал по металлически холодному тротуару. Фонтан, охваченный толстым браслетом льда, в четверть силы струил тонкую простыню льдисто-голубой воды.

Трамваи один за другим, полязгивая, занимали свои исходные позиции, вагоновожатые притоптывали ногами и переговаривались, выдыхая пар. Город начинал оживать. Рядом с ратушей над своими повозками спали пожарные – за запертой дверью стучали по дереву большие копыта.

В восточном конце площади перед ратушей загрохотала подвода – старый конь, приседая на задние ноги, осторожно спускался к ломовой бирже по булыжнику кривого переулка, который отделял мастерскую Ганта от биржи и «каталажки». Когда трамвай возобновил свой путь на восток, Ганту в этом переулке на мгновение открылся вид на Негритянский квартал. Над убогими крышами, как страусовые перья, поднимались десятки струек дыма.

Трамвай быстро покатил вниз по Академи-стрит, повернул на Айви-стрит там, где верхний край Негритянского квартала круто вторгнулся из оврага в обитель белых, и двинулся на север по улице, окаймленной с одной стороны закопченными оштукатуренными домиками, а с другой – величественной дубовой рощей, в глубине которой уныло высился обветшавший и заброшенный «Пансион для благородных девиц» старого профессора Боумена. Трамвай снова повернул и остановился на вершине холма на углу Вудсон-стрит перед огромным, холодным, деревянным пустым сараем гостиницы «Айви», которая так себя и не окупила.

Гант прошел по проходу, подталкивая коленями тяжелый саквояж, поставил его на несколько секунд у обочины, а потом начал спускаться с холма по немощеному проулку. Замерзшие комья глины, подпрыгивая, тяжело катились по склону. Склон оказался круче, короче, ближе, чем он думал. Только деревья выглядели большими. Он увидел, как Данкен в подтяжках вышел на крыльцо и поднял газету. Пока не стоит его окликать. Потом. А то разговор затянется. Как он и ожидал, из трубы шотландца валили густые клубы утреннего дыма, а над его трубой не поднималось ничего.

Он спустился с холма, бесшумно открыл свою железную калитку и пошел через двор к боковому крыльцу, чтобы не подниматься по крутым ступенькам веранды. Толстые обнаженные виноградные лозы обвисали на стенах дома, как узловатые канаты. Он тихонько вошел в гостиную. В ней пахло

холодной кожей. В камине лежал тонкий слой холодной золы. Он положил саквояж и через прачечную прошел в кухню. Элиза в его старом сюртуке и шерстяных перчатках с отрезанными пальцами ворошила чуть тлеющие угли.

– Ну, я вернулся, – сказал Гант.

– Подумать только! – воскликнула она, как он знал заранее, и всполошилась, нерешительно шевеля руками. Он неуклюже положил ладонь ей на плечо. Они неловко постояли, не двигаясь. Потом он схватил бидон и облил поленья керосином. Из плиты с ревом вырвалось пламя.

– Господи помилуй, мистер Гант! – вскрикнула Элиза. – Вы нас спалите!

А он, схватив охапку растопки и бидон, яростно устремился в гостиную.

Когда огонь, загудев, взметнулся над облитыми керосином сосновыми сучьями и Гант почувствовал, как задрожало полное пламени горло камина, он вновь обрел радость. Он привез с собой необъятность пустыни; гигантскую желтую змею реки, влекущей взвеси почв со всего континента; пышное зрелище груженных кораблей, вздымающих мачты над молами, – кораблей, пропитанных тоской по всему миру, несущих в себе отфильтрованные и сконцентрированные запахи земли, чувственного темного рома и патоки, дегтя, зреющих гуайяв, бананов, мандаринов и ананасов, заполняющих теплые трюмы тропических судов и таких же дешевых, изобильных и щедрых, как ленивая экваториальная

земля и все ее женщины; великие названия – Луизиана, Техас, Аризона, Колорадо, Калифорния; спаленный дьявольский мир пустыни и колоссальные полые древесные стволы, сквозь которые может проехать карета; воду, которая падала с горной вершины дымящимися бесшумными извивами, кипящие озера, взметываемые в небо пунктуальным дыханием земли, бесконечное разнообразие судорог, воплотившееся в гранитные океаны, прорезанные бездонными каньонами, которые играют радугой ежечасно по-хамелеоны меняющихся оглушительных красок, лежащих вне человека, вне природы, под нечеловечески радужным сиянием небес.

Элиза, все еще взволнованная, уже обрела дар речи, вошла вслед за ним в гостиную и рассказывала, держа на животе растрескавшиеся руки в перчатках без пальцев:

– Я только вчера говорила Стиву: «Я не удивлюсь, если ваш папенька войдет в комнату хоть сию минуту» – у меня было такое предчувствие, уж не знаю, как вы это назовете, – сказала она, задумчиво морща лицо при этом внезапном сотворении легенды, – но если подумать, так это очень странно. Я на днях заглянула к Гаретту заказать кое-чего – ванилину, соды и фунт кофе, и тут ко мне подошел Алек Картер и говорит: «Элиза, а когда вернется мистер Гант? У меня, наверное, будет для него работа». «Алек, – говорю я, – раньше первого апреля я его не жду». И что же вы думаете, сэр, чуть только я вышла на улицу – наверное, я о чем-то другом задумалась, потому что, помню, Эмма Олдрич шла мне на-

встречу и окликнула меня, а я даже ей и не ответила, пока она не прошла, и мне пришлось кричать ей вслед: «Эмма! — меня прямо так и осенило. — Знаешь что? Мистер Гант едет домой». Говорю и чувствую, что это вернее верного.

«Господи, — подумал Гант. — Уже началось».

Ее память ползла по океанскому дну события подобно гигантскому осьминогу, который слепо, ничего не пропуская, ощупывает каждый подводный грот, ручеек и эстуарий, сфокусированная с пентлендовским засасывающим упорством на всем, что делала, чувствовала и думала она, Элиза Пентленд, одна из Пентлендов, ради которых сияло солнце или спускалась ночь, лил дождь и род людской возникал, говорил и умирал, перенесенный на один миг из пустоты в пентлендовскую суть, связь и цель вещей.

Гант же, укладывая большие поблескивающие куски угля на дрова, бормотал себе под нос, и в его мозгу складывались в нарастающей последовательности уравновешенные взрывчатые периоды тщательно сбалансированной риторики.

Да, душный хлопок, зашитый в тюки и сложенный под длинными навесами товарных станций, и душистые сосновые леса на равнинах Юга, напитанные коричневатым скалочным светом и расчерченные высокими прямыми безлистыми столбами древесных стволов; женская нога под краем элегантно приподнятой юбки на подножке экипажа на Канал-стрит (француженка, а может быть, креолка); белая рука, протянутая к шторке окна, оливковые лица, мелькающие

в окнах, жена доктора из Джорджии, которая спала над ним на пути туда, неукротимое, полное рыбы изобилие неогороженного, синего, медлительного, ленивого Тихого океана; и река, все выпивающая, желтая, медленно катящаяся змея, которая осушает континент. Его жизнь была подобна этой реке – богатая собственными влекущимися в ней взвесями, насыщенная размытыми отложениями, неутомимо заполняемая жизнью, чтобы со все большей пышностью быть самой собой: и вот эту жизнь, эту великую целеустремленность реки он направил в бухту своего дома, достойный его приют, где ради него толстые старые лозы трижды обвивали стены, земля одевалась изобилием плодов и цветов и бешено пылал огонь.

– Что у тебя есть на завтрак? – спросил он у Элизы.

– Ну, – сказала она, в раздумье поджимая губы, – может, съедите яичницу?

– Да, – сказал он, – со свиными шкварками и парой колбасок.

Он широкими шагами пересек столовую и вышел в переднюю.

– Стив! Бен! Люк! Бездельники окаянные! – загремел он. – Вставайте!

Их ноги почти одновременно стукнулись об пол.

– Папа вернулся! – завопили они.

Мистер Данкен следил, как сливочное масло впитывается в горячую булочку. Он поглядел вниз и наискосок за окон-

ную занавеску и увидел, что над домом Ганта в небо тяжело вгрызаются густые клубы едкого дыма.

– Он вернулся, – сказал он с довольным видом.

И в эту же минуту Таркинтон, повелитель красок, сказал:

– У. О. вернулся. Вот так, совершив свой путь на Запад, вернулся домой Гант Скиталец.

VIII

Юджин бродил теперь по безграничным лугам ощущений – его сенсорный аппарат был настолько совершенным, что в момент восприятия чего-то одного охватывался и весь фон цвета, температуры, запаха, звука и вкуса, так что позднее горьковатый аромат нагретого одуванчика воскрешал в памяти теплую траву зеленых весенних пригорков – такой-то день, такое-то место и шелест молодой листвы; или страница книги – слабый экзотический запах мандарина, зимнюю терпкость больших яблок; или – как было с «Путешествиями Гулливера» – ясный ветреный мартовский день, внезапные наплывы тепла, дробную капель и запах оттаивающей земли, жар огня.

Он сделал первый шаг к освобождению из замкнутости дома – ему еще не исполнилось шести лет, когда он настоял на своем и начал ходить в школу. Элиза не хотела пускать его, но Макс Айзекс, его единственный близкий товарищ, который был на год старше его, поступил в школу, и

сердце Юджина сжималось от мучительного страха перед новым одиночеством. Элиза твердо сказала, что ему еще рано учиться, — она смутно чувствовала, что школа положит начало медленному, но бесповоротному разрыву всех связей, соединявших ее с ним, — однако, увидев как-то утром в сентябре, что он тихонько выбрался за калитку и со всех ног помчался к углу, где его ждал Макс, она не окликнула его и не заставила вернуться. В ней лопнула перенапряженная струна — она вспомнила, как он испуганно оглянулся через плечо, и заплакала. Но оплакивала она не себя, а его: через час после его рождения она поглядела в его темные глаза и увидела в них то, что, как она знала, будет сумрачно прятаться в них всегда — неизмеримые глубины неуловимого и неопределенного одиночества; она поняла, что в ее темной и печальной утробе обрел жизнь чужак, вскормленный утраченными заветами вечности, свой собственный призрак, привидение, блуждающее по собственному дому, одинокий и в себе самом, и в мире. Утрата, утрата!

У его братьев и сестер, занятых томительной болью собственного взросления, не было времени для него — он был почти на шесть лет моложе Люка, младшего из них, — но иногда они дразнили и мучили его с жестокостью, с которой дети постарше любят мучить тех, кто меньше их, с веселым любопытством наблюдая его бешеные вспышки, когда, насильно оторванный от своих грез и доведенный до исступления, он хватал кухонный нож и кидался на них или бился головой

об стену.

Они чувствовали, что он «свихнутый», – и, когда его преследователям попадало за эти издевательства, они, согласно законам самодовольной трусости, управляющим детским стадом, оправдывались тем, что хотят сделать из него «настоящего мальчика». А в нем росла глубокая привязанность к Бену, который бесшумно проходил по дому, уже тогда пряча свою тайную жизнь за хмурыми глазами и угрюмой речью. Бен сам был чужим, и какой-то глубокий инстинкт влек его к маленькому брату, – часть своего небольшого заработка разносчика газет он тратил на подарки и развлечения для Юджина, ворчливо одергивал его, иногда награждал подзатыльниками, но оберегал от остальных.

Гант, наблюдавший, как он часами сосредоточенно разглядывает картинки на озаренных огнем книжных страницах, пришел к выводу, что мальчику нравятся книги, и довольно неопределенно решил, что сделает из него адвоката, настоит, чтобы он занялся политикой, и еще увидит, как он будет выбран губернатором, сенатором, президентом. И время от времени он рассказывал Юджину весь набор примитивных американских легенд о деревенских мальчиках, которые стали великими людьми потому, что были деревенскими мальчиками, бедными мальчиками, и прилежно трудились на фермах. Но Элизе он представлялся книжником, ученым человеком, профессором, и с обычным своим умением задним числом видеть все наперед, которое так раз-

дражало Ганта, она узрела в этой страсти к книгам результат своего собственного продуманного плана.

– Летом, перед тем как он родился, я каждую свободную минуту тратила на чтение, – сказала она и с безмятежно-самодовольной улыбкой, которая, как знал Гант, всегда предшествовала упоминанию о ее семье, добавила: – Вот послушайте, все это может расцвести в третьем поколении.

– Да будь оно проклято, это третье поколение! – в ярости ответил Гант.

– Вот что я хочу сказать, – продолжала она задумчиво, подкрепляя свои слова взмахами указательного пальца. – Люди же всегда говорили, что из его деда вышел бы настоящий ученый, если бы только...

– Боже милосердный! – внезапно вскрикнул Гант и, вскочив, принялся с ироническим смехом расхаживать по комнате. – Я мог бы заранее знать, что этим кончится! Уж будьте уверены, – возопил он бурно, быстро облизнув большой палец, – если выйдет что-нибудь хорошее, так я, конечно, окажусь ни при чем. Уж ты об этом позаботишься! Скорее умрешь, чем признаешь тут мою заслугу! И я тебе скажу, что ты устроишь – будешь хвастать этим никчемным старикашкой, который в жизни и одного дня не потрудился как следует!

– На вашем месте я бы не стала этого говорить, – начала Элиза, быстро шевеля губами.

– Иисусе! – мечась по комнате, воскликнул он с обычным

пренебрежением к обоснованным аргументам. – Иисусе! Какая насмешка! Какая насмешка над природой! В аду нет фурии²⁸ опасней, чем женщина отвергнутая! – выкрикивал он с жаром, хотя и без всякой логики, а потом разразился громким, горьким, вымученным хохотом.

Вот так, замкнутый в своей темной душе, Юджин раздумывал над озаренной огнем книгой – чужак на шумном постоялом дворе. Врата его жизни затворялись, укрывая его от всех них, огромный воздушный мир фантазий воздвигал зыбкие туманные постройки. Юджин погружал свою душу в бурлящий поток образов, он рылся по книжным полкам в поисках картинок и находил там такие сокровища, как «Со Стэнли в Африке» – книгу, овеянную таинственностью экваториального леса, полную схваток, чернокожих воинов, летящих копий, огромных деревьев со змеящимися корнями, хижин, крытых пальмовыми листьями, золота и слоновой кости; или «Чтения» Стоддарда, на тяжелых глянцевиных страницах которой были запечатлены наиболее знаменитые места Европы и Азии; или «Книгу чудес» с завораживающими изображениями всех самых последних достижений века – Сантос-Дюмон²⁹ на своем воздушном шаре,

²⁸ *В аду нет фурии...* – фраза из трагедии английского драматурга У. Конгрива (1670–1729) «Невеста в трауре».

²⁹ *Сантос-Дюмон Альберто (1873–1932)* – один из пионеров воздухоплавания и авиации. В 1899 году совершил полет над Парижем на управляемом воздушном шаре сигарообразной формы, несколько раз облетев Эйфелеву башню. Уильям

жидкий воздух, льющийся из чайника, все военные флоты мира, поднятые на два фута из воды одной унцией радия (сэр Уильям Крукс), постройка Эйфелевой башни, автомобиль с рычажным управлением, подводная лодка. После землетрясения в Сан-Франциско появилась книжка с его описанием: ее дешевая зеленая обложка нагоняла ужас – на ней рушились башни, ломались колокольни, многоэтажные дома клонились над разверстой огненной пастью земли. И еще была книга «Дворцы Греха, или Дьявол в Светском Обществе», якобы написанная благочестивым миллионером, который растратил все свое огромное состояние, обличая запудренные язвы на безупречных репутациях сильных мира сего, – увлекательные картинки изображали автора, который шел в цилиндре по улице, полной великолепных дворцов греха.

Его задумчивое воображение превращало эту хаотичную галерею в мозаичный мир, который непрерывно рос и ширился, – темные падшие ангелы «Потерянного рая» Доре³⁰ слетали на могучих крыльях в недра ада где-то вне этой верхней земли стройных или рушащихся колоколен, машинных чудес, романтики мечей и кольчуг. И когда он думал о том,

Крукс (1832–1919) – знаменитый английский физик. В 1900 году выделил из урана особо активный изотоп уран-х.

³⁰ ...падшие ангелы «Потерянного рая» Доре. – Доре Гюстав (1832–1883) – французский художник, прославившийся как иллюстратор. В частности, он иллюстрировал поэму английского поэта Д. Милтона (1608–1674) «Потерянный рай», действие которой разворачивается в аду.

как в будущем свободным выйдет в этот героический мир, где все краски жизни ярко пылают вдали от дома, сердце за-топляло его лицо озерами крови.

Он уже слышал звон дальних церковных колоколов, разносящийся над горами в воскресный вечер; внимал земле, погруженной в задумчивую симфонию мрака и миллионно-голосых маленьких ночных существ; он слышал уносящийся вопль гудка в дальней долине и тихий рокот рельсов; он чувствовал безграничную глубину и широту золотого мира в кратких соблазнах тысяч и тысяч сложных, смешанных, таинственных запахов и звуков, которые в ослепляющем взаимодействии и многоцветных вспышках сплетались и переходили друг в друга.

Он еще помнил Индийский чайный домик на Ярмарке – сандаловое дерево, тюрбаны и халаты, прохладу внутри и запах индийского чая; и он уже познал ностальгическую радость росистых весенних утр, вишенный аромат, звенящую трубную землю, влажную черноземность огорода, пряные запахи завтрака и плавную метель лепестков. Он знал полуденный восторг нагретых одуванчиков в молодой весенней траве, запах погребов, паутины и потаенной, застроенной земли, июльский запах арбузов, укрытых душистым сеном в фургоне фермера, запах дынь и уложенных в ящики персиков и горьковато-сладкое благоухание апельсинной корки возле пылающих в камине углей. Он знал добротный мужской запах отцовской гостиной, скользкого потертого кожа-

ного дивана с конским волосом, торчащим из зияющей про-
рехи, потрескавшейся лакированной каминной полки, на-
гретых переплетов из телячьей кожи, плоской влажной плит-
ки яблочного табака с красным флажком на ней; древесного
дыма и горелых листьев в октябре, бурой, усталой осенней
земли, ночной жимолости, нагретых настурций; чистоплот-
ного румяного фермера, который каждую неделю привозит
бруски масла с выдавленной меткой, яйца и молоко; жир-
ной мягкой недожаренной грудинки и кофе; хлебной печи
на ветру, больших темноцветных бобов, исходящих горячим
паром и обильно сдобренных солью и маслом; давно запер-
той комнаты со старыми сосновыми половицами, в которой
сложены ковры и книги; винограда «конкорд» в длинных бе-
лых корзинах.

Да, и волнующий запах мела и лакированных парт; запах
толстых ломтей хлеба, намазанных маслом и переложенных
кусками холодного жареного мяса; запах новой кожи в лавке
шорника или теплого кожаного кресла; меда и немолотого
кофе; маринадов в бочонках, сыров и прочих душистостей
бакалейной лавки; запах яблок в погребе, и на ветках в са-
ду, и под прессом во время изготовления сидра; груш, до-
зревающих на солнечной полке, и спелых вишен, томящих-
ся в сахарном сиропе на горячей плите; запах обструганно-
го дерева, свежих досок, опилок и стружек; персиков, начи-
ненных гвоздикой и вымоченных в коньяке; сосновой смолы
и зеленых сосновых игл; подрезаемого лошадиного копыта;

жарящихся каштанов, мисок с орехами и изюмом; горячих шкварок и жареного молочного поросенка; масла с корицей, тающего на горячих засахаренных ямсах.

Да, и застойной медлительной речки; и помидоров, гниющих на стебле; запах влажных от дождя слив и варящейся айвы; гниющих семенных коробочек на лилиях и вонючих водорослей, гниющих в зеленой болотной пене; и изысканный запах Юга, чистый, но душиноватый, как крупная женщина; намокших деревьев и земли после долгого ливня.

Да, и утренний запах нагретых лужаек с маргаритками; расплавленного чугуна в литейной; зимний запах конюшни, полной дымящегося навоза и лошадиного тепла; старого дуба и ореха; запах мясной лавки – крепенькой тушки ягненка, пухлой подагрической печени, фаршированных колбас и красной говядины; и жженого сахара, смешанного с шоколадной крошкой; и растертых листьев мяты, и мокрого куста сирени; магнолии под полной луной, шиповника и лавра; старой прокуренной трубки и ржаного виски, выдержанного в бочонках из обожженных дубовых досок; резкий запах табака; карболовой и азотистой кислоты; грубый псиный запах собаки; запертых старых книг; прохладный папоротниковый запах возле родников, ванили в сладком тесте и огромных рассеченных сыров.

Да, и скобяной лавки – но в основном добротный запах гвоздей; химикалий в темной комнате фотографа; и юный запах масляных красок и скипидара; пшеничной опары и

черного сорго; и негра, и его лошади; варящейся помадки; морской запах чанов для солений; сочный запах зарослей на южных холмах; осклизлой банки из-под устриц и охлажденной выпотрошенной рыбы; распаренной кухарки-негритянки; керосина и линолеума; сарсапариллы и гуайяв; и зрелой осенней хурмы и запах ветра и дождя; и едко-кислого грома; холодного света звезд и хрупких замерзших травинок; тумана и затянутого дымкой зимнего солнца; времени прорастания семян, времени цветения и времени сбора спелого осыпавшегося урожая.

И теперь, когда все это неутолимо раздражило его, он в школе погрузился в плодоносную романтику, которая зовется географией, и начал вдыхать смешение ароматов всей земли, ощущая в каждом пузатом бочонке на пристани бесценный клад золотистого рома, бархатного портвейна и маслянистого бургундского; чуя буйные джунгли тропиков, тяжелую духовитость плантации, запах соленой рыбы, пропитавший гавани; путешествуя по огромному, пленительному, но простому и ясному миру.

Теперь неисчислимые острова архипелага остались позади, и он твердой ногой вступил на неизвестный, но ждущий его материк.

Читать он научился почти сразу – его могучая зрительная память мгновенно запечатлевала облик слов, но прошел не один месяц, прежде чем он научился писать или хотя бы

списывать слова. Время от времени на уроках в его ясном утреннем сознании всплывали обломки и взлохмаченная пена прежних фантазий и утраченного мира, и, хотя все другие объяснения учительницы он слушал внимательно, когда они начинали писать буквы, он укрывался в стенах своего бывшего, отгороженного от всех мира. Дети выводили корявые букочки под строчками прописи, но у него получалась только зубчатая линия кривых копеечных наконечников, и он упоенно тянул и тянул ее, не замечая и не понимая разницы.

«Я научился писать», – думал он.

Затем в один прекрасный день Макс Айзекс внезапно оторвался от прописи, заглянул в тетрадку Юджина и увидел зубчатую линию.

– Так не пишут, – сказал он.

И, стиснув карандаш в немой бородавчатой лапке, Макс поперек всей страницы скопировал пропись.

Эта линия жизни, эта прекрасная развертывающаяся конструкция языка, которая возникала под карандашом его товарища, сразу разрубила в нем тот узел, который не удавалось развязать никаким объяснениям учительницы, и, схватив карандаш, он написал все нужные слова буквами более четкими и красивыми, чем буквы Макса. А потом он с подавленным криком открыл следующую страницу и уверенно скопировал пропись на ней – а потом открыл следующую страницу, и еще следующую. Они с Максом поглядели друг на друга с тем спокойным удивлением, с каким дети прием-

люют чудеса, и больше никогда не заговаривали об этом.

– Вот как пишут, – сказал Макс, но тайна осталась известной только им одним.

Юджин впоследствии вспоминал про это событие: он всегда чувствовал, что в нем вдруг распахнутся врата и прилив вырвется на свободу, и вот это случилось – однажды и сразу. Он все еще был мал и близок к живой шкуре земли, и видел много такого, что трепетно хранил в строжайшей тайне, ибо рассказать – значило бы навлечь на себя кару насмешек, и он это знал. Как-то весной в субботу они с Максом Айзексом остановились на Сентрал-авеню у глубокой ямы, на дне которой рабочие чинили водопровод. Глинистые края ямы поднимались гораздо выше их голов, а позади их согнутых спин виднелась широкая дыра, окошко, пробитое в стенке какого-то темного подземного хода. И, разглядывая эту дыру, мальчики внезапно крепко ухватились друг за друга, потому что за отверстием скользнула плоская голова огромной змеи – скользнула, скрылась, и потянулось чешуйчатое тело толщиной с тело взрослого мужчины. Чудовище бесконечно долго уползало в недра земли за спиной ничего не подозревающих рабочих. Оглушенные страхом мальчики ушли: они шепотом обсуждали этот случай и тогда и потом, но никому другому про него не рассказали.

Юджин без труда приспособился к школьному ритуалу: по утрам он вместе с братьями молниеносно уписывал завтрак, одним глотком выпивал обжигающий кофе и выбегал

из калитки под зловещее предупреждение последнего звонка, сжимая в руке горячий мешочек с завтраком, на котором уже проступали пятна жира. Он мчался за братьями, и от волнения его сердце билось где-то в горле, а когда он скатывался в ложбину у подножия холма Сентрал-авеню, у него от волнения подгибались ноги, потому что удары школьного колокола стихали и привязанная к языку веревка раскачивалась в такт замирающим отголоскам.

Бен, злокозненно ухмыляясь и хмурясь, прижимал ладонь к его заду, и он с визгом стремглав взбирался по склону, не в силах сопротивляться неумолимому нажиму.

Прерывающимся голосом он, запыхавшись, подхватывал утреннюю песню, которую допевал класс:

... весело, весело, весело,
Ведь жизнь – это только сон!

Или в морозные осенние утра:

Рог охотничий трубит,
На горах заря горит.

Или про спор Западного Ветра с Южным Ветром. Или песенку Мельника:

Никому, никому не завидую я,
И никто не завидует мне.

Он читал быстро и без запинки, он писал грамотно. Ему легко давалась арифметика. Но он ненавидел уроки рисования, хотя коробочки цветных карандашей и красок приводили его в восторг. Иногда класс отправлялся в лес и приносил оттуда образчики цветов и листьев – изгрызенный пламенеющий багрец клена, бурую гребенку сосны, бурый дубовый лист. Их они и срисовывали. Или весной – веточку цветущей вишни, тюльпан. Он сидел, почтительно благоговей перед властью толстенькой женщины, его первой учительницы, и больше всего боялся сделать что-нибудь, что могло бы показаться ей недостойным или гадким.

Класс томился – мальчики щипали и дергали девочек или подбрасывали им записочки с нехорошими словами. А самые отчаянные и самые ленивые под любым предлогом старались сбежать: «Разрешите выйти!» И брели в уборную, хихикая, еле волоча ноги, чтобы затянуть время.

Он ни за что не произнес бы этих слов, потому что они изобличили бы его перед учительницей в стыдной потребности.

Как-то раз он молча и упрямо боролся с невыносимой тошнотой, пока в конце концов его не вырвало в сложенные ладошки.

Он боялся перемен и ненавидел их, трепетал перед шумной и грубой возней на площадке для игр, но гордость не позволяла ему украдкой остаться в классе или спрятаться

где-нибудь поодаль от них. Элиза не подстригала ему волосы и каждое утро накручивала их пряди на свой палец, чтобы он ходил в пышных фаунтлероевских локонах³¹. Эти локоны причиняли ему невыносимые муки, но она не могла или не хотела понять, каким униженным он себя чувствует, и на все мольбы отричь его задумчиво и упрямо поджимала губы. Срезанные локоны Бена, Гровера и Люка она хранила в маленьких коробочках и иногда плакала, глядя на кудри Юджина: для нее они были символом нежного детства, и ее печальное сердце, так остро воспринимавшее все символы расставаний, не допускало и мысли о том, чтобы ими пожертвовать. Даже когда вши Гарри Таркинтонa основали в густых волосах Юджина процветающую колонию, она не стала его стричь, а дважды в день зажимала между колен его извивающееся тельце и скребла кожу на его голове частым гребешком.

В ответ на его страстные, полные слез мольбы она улыбалась подчеркнуто снисходительной добродушной улыбкой, поддразнивая покашливала и говорила: «Да ведь ты же еще не вырос. Ты мой маленький-маленький мальчик!» И, теряясь перед гибкой неуступчивостью ее характера, который можно было подвигнуть на действие только непрерывными свирепыми уколами, Юджин в иступленном припад-

³¹ ...пышные фаунтлероевские локоны. – Семилетний герой slashавой повести для детей американской писательницы Ф. Бернет (1849–1924) «Маленький лорд Фаунтлерой» изображался на иллюстрациях с пышными локонами, ниспадающими на плечи.

ке бессильной ярости начинал понимать бешенство Ганта.

В школе он был отчаявшимся и затравленным зверьком. Стадо, благодаря безошибочному коллективному инстинкту, мгновенно распознало чужака и было беспощадно в своих преследованиях. На большой перемене Юджин, прижимая к груди свой большой промасленный мешочек с завтраком, стремглав бежал на площадку для игр, а за ним гналась воющая стая. Вожаки, двое-трое великовозрастных олухов, физически переразвитых и умственно отсталых, нагоняли его с просительным воплем: «Ты ж меня знаешь, Джин, ты ж меня знаешь!» И на бегу он открывал мешочек и кидал в них большим бутербродом – на мгновение они задерживались, вырывая куски бутерброда у того, кто первым успел им завладеть, а потом с той же воющей настойчивостью загоняли Юджина в дальний угол двора, протягивая жадные лапы и упрасывая. Он отдавал им все, что у него было, иногда с внезапной яростью вырывая из алчных пальцев половину бутерброда и пожирая ее. Когда они убеждались, что у него больше ничего нет, они уходили.

Он по-прежнему преданно верил в великую сказку Рождества. В этом Гант был его неутомимым товарищем. Вечер за вечером в конце осени и в начале зимы он старательными каракулями выводил просьбы Санта-Клаусу, составляя бесконечные списки подарков, которые он больше всего хотел бы получить, и доверчиво бросал их в бушующее пламя камина. Когда огонь выхватывал бумажку из его рук и с ревом

уносил ее обуглившийся призрак, Гант кидался с ним к окну, указывал на хмурающийся тучами северный край неба и кричал: «Вон она! Видишь?»

Юджин видел. Он видел, как его молитва, окрыленная верным попутным ветром, уносилась на север к причудливым рифмованным башенкам Игрушечной страны, в морозную веселую Эльфландию; он слышал серебристый звон наковален, басистый хохоток гномов, нетерпеливое фырканье запертых в конюшне воздушных оленей. И Гант тоже видел и слышал их.

В сочельник Юджин получал множество ярких игрушек, и в глубине души он ненавидел тех, кто был сторонником «полезных» подарков. Гант покупал ему тележки, санки, барабаны, трубы, а однажды купил самое лучшее – пожарную повозку с лестницей, которая сначала вызвала восхищение всего околотка, а потом стала его проклятием. Месяц за месяцем он все свободные часы проводил в подвале с Гарри Таркинтоном и Максом Айзексом – они подвесили лестницы над повозкой на проволоке так, что стоило дернуть, и лестницы опускались на землю аккуратными штабелями. Они притворно клевали носами, как настоящие пожарные, потом внезапно один из них изображал набат: «Бом! Бом! Бом-бом-бом!», и они начинали лихорадочно суетиться. Затем рассудку вопреки они проскакивали через узкую дверь, – Гарри и Макс в упряжке, а Юджин на козлах, – сломя голову неслись к дому кого-нибудь из соседей, устанавливали

лестницы, открывали окна, забирались внутрь, гасили воображаемый пожар и возвращались, не замечая визгливой брани хозяйки дома.

Несколько месяцев они жили этой игрой, во всем подражая городским пожарным и Жаннадо, который был помощником брандмейстера и по-детски гордился этим – они не раз видели, как при звуке набата он, словно сумасшедший, отскакивал от своего окна в мастерской Ганта, оставив на столе в беспорядке часовые колесики и пружинки, и оказывался на своем посту в тот самый момент, когда огромная повозка вихрем вылетала из ворот на площадь. Пожарные любили поражать обывателей эффектными зрелищами: блистая касками, они свисали с повозок в гимнастических позах – один поддерживал другого над стремительно убегающим назад булыжником, а номер второй подхватывал на лету тяжелое тело швейцарца, который, сознательно рискуя шеей, прыгал на мчащуюся повозку. И на один упоительный миг они застывали треугольником во власти раскачивающейся скорости, и по спине города пробегали блаженные мурашки.

А когда набат прорывался ночью сквозь затопляющие волны ветра, демон Юджина врывался в его сердце, рвал все узы, связующие его с землей, и обещал ему одиночество и власть над морем и сушей, обиталищем мрака; он глядел вниз, на кружащийся диск темных полей и леса, слетал над поющими соснами к съезжившемуся городку, зажигал кровли над упрятым, зарешеченным огнем их же собственных

очагов, а сам носился на обузданной буре над обреченными пылающими стенами, смеясь пронзительным смехом высоко над поникшими в ужас головами и дьявольским голосом призывая сокрушительный ветер.

Или же, властвуя над бурей и тьмой и над всеми черными силами колдовства, заглянуть вампиром в исхлестанное бурей окно, на мгновение посеяв невыразимый ужас в укромном семейном уюте; или же всего лишь человеком, но храня в своем не просто смертном сердце демонический экстаз, припасть к стене одинокого стонущего под бурей дома, глядеть сбоку сквозь залитое дождем стекло на женщину или на твоего врага и в разгар ликующего восторга твоего победоносного, темного всевидящего одиночества почувствовать на плече прикосновение и увидеть (настигнутый преследователь, затравленный гонитель) зеленый разлагающийся адский лик злобной смерти. Да, и мир женщин в постелях, проблески красоты в тяжело дышащем мраке, когда ветры сотрясают крышу и он проносится с другого конца света между душистыми столпами восторга. Великая тайна их тела слепобродила в нем, но в школе он нашел наставников в желании – великовозрастных олухов из Даблдея с пробивающимися усами. Они вселяли страх и изумление в сердца мальчиков помоложе и посмирнее, потому что Даблдей был страшным кварталом городских горцев, которые зловеще прятались в ночном мраке и в канун Дня всех святых, когда завязывалась драка и начинали летать камни, они являлись проламывать

головы членам других шаек.

Конопатый, усатый, низколобый немчик Отто Краузе, худой и быстроногий, хриплый, всегда готовый залиться идиотским смехом, открыл ему сады восторга. Моделью служила Бесси Барнс, черноволосая высокая тринадцатилетняя девочка с развитыми формами. Отто Краузе было четырнадцать лет, Юджину восемь – они учились в третьем классе. Немчик сидел рядом с ним, рисовал в своих учебниках непристойные картинки и украдкой перебрасывал похабные записочки через проход на парту Бесси.

Нимфа отвечала вульгарной гримасой и шлепала себя по изыщно вздернутой ягодице, – Отто считал этот жест недвусмысленным обещанием и начинал хрипло хихикать.

Бесси шествовала в его сознании.

На уроках они с Отто тайком развлекались тем, что изукрашивали непристойностями свои учебники по географии, наделяя обитателей тропиков отвислыми грудями и огромными органами. А на клочках бумаги он писал грязные стишки об учителях и директоре. Их учительницей была тощая краснолицая старая дева со злобно сверкающими глазами: глядя на нее, Юджин всегда вспоминал солдата, огниво и собак, мимо которых тому приходилось пробираться, – с глазами, как блюдце, как мельничные жернова и как луна. Ее звали мисс Гуди, и Отто с тупым пристрастием к бессмысленным непристойностям, обычным у маленьких мальчиков,

написал про нее:

У старухи Гуди
Хорошие груди.

А Юджин, направив свой огонь против директора, толстого, пухлого, щеголеватого молодого человека по фамилии Армстронг, всегда носившего в петлице гвоздику, которую он, кончив сечь провинившегося ученика, имел обыкновение изящно брать двумя пальцами и, полузакрыв глаза, нюхать чуткими ноздрями, создал в первых радостных потугах творчества десятки стишков в поношение Армстронга, его предков и его знакомства с мисс Гуди.

Теперь он весь день напролет как одержимый сочинял стихи – все новые непристойные вариации на ту же тему. И у него не поднималась рука уничтожить их. Его парта была набита стишками, смятыми в комочки, и однажды на уроке географии учительница поймала его врасплох. Когда она, сверкая глазами, подскочила к нему, его кости словно стали резиновыми, а она выхватила заложенную между страниц учебника бумажку, на которой он писал. На перемене она очистила его парту, прочла все стихи и со зловещим спокойствием велела ему после конца уроков пойти к директору.

– Зачем это? Как ты думаешь, зачем это? – прошептал он пересохшими губами Отто Краузе.

– Влепит он тебе, и все, – ответил Отто Краузе с хриплым

смехом.

И все остальные ученики исподтишка дразнили его: перехватив его взгляд, они принимались тереть себя ладонью пониже спины и гримасничали, изображая невыносимое страдание.

У него все оледенело внутри. К физическому унижению он испытывал мучительное отвращение, источником которого не был страх и которое он сохранил на всю жизнь. Он завидовал наглой душевной бесчувственности других мальчишек, но был не в силах подражать им – когда их наказывали, они громко вопили, чтобы смягчить наказание, а десять минут спустя хвастливо делали вид, будто им все нипочем. Он думал, что не вынесет того, чтобы его сек жирный молодой человек с цветочком, – в три часа, белый как полотно, он вошел в кабинет директора.

Когда Юджин вошел, Армстронг, щуря глаз и плотно сжав губы, несколько раз со свистом рассек воздух тростью, которую держал в руке. Позади него на столе аккуратной разглаженной стопкой лежали роковые рифмованные оскорбления.

– Это написал ты? – спросил директор, суживая глаза в крохотные щелочки, чтобы напугать свою жертву.

– Да, – сказал Юджин.

Директор снова рассек воздух тростью. Он несколько раз бывал в гостях у Дейзи и ел за обильным столом Ганта. Он прекрасно это помнил.

– Что я тебе сделал, сынок, что ты так ко мне относишься? – спросил он, внезапно переходя на тон хнычущего великодушия.

– Н-н-ничего, – сказал Юджин.

– Как ты думаешь, это когда-нибудь повторится? – спросил директор прежним грозным голосом.

– Н-нет, сэр, – прошелестел Юджин.

– Ну, хорошо, – величественно сказал Бог, отбрасывая трость. – Можешь идти.

Ноги Юджина перестали подгибаться, только когда он дошел до площадки для игр.

Зато и чудесная осень, и песни, которые они пели; сбор урожая и раскраска листьев; и «сегодня нет занятий», и «взмывая в высоту», и еще про поезд – «станции мелькают мимо»; тихие золотые дни, распахивающие врата желаний, дымчатое солнце, drobный шорох падающих листьев.

– Каждая маленькая снежинка отличается по форме от всех остальных.

– Гошподи! Каждая-каждая, мишш Пратт?

– Да, каждая маленькая снежинка из всех, какие когда-либо были. Природа никогда не повторяется.

– Ух ты!

У Бена росла борода, он уже брился. Он валил Юджина на кожаный диван и часами играл с братишкой, царапая нежные щеки щетинистым подбородком. Юджин визжал.

– Вот когда ты сумеешь так сделать, ты будешь мужчи-

ной, — говорил Бен.

И пел негромко шелестящим голосом призрака:

Школьную дверь дятел долбил,
Долбил и долбил и клюв разбил.
Школьный колокол дятел долбил,
Долбил и долбил и клюв починил.

Они смеялись — Юджин заливчато и взахлеб, Бен негромко и спокойно. У него были глаза цвета серой морской воды и желтоватая бугристая кожа. Голова у него была красивой формы, лоб высокий и выпуклый. Волосы у него были волнистые, каштаново-коричневые. Лицо под вечно хмурыми бровями было маленьким и заостренным, необычайно чуткий рот улыбался коротко, вспышками, про себя, — как блик пламени, пробегающий по лезвию. И он всегда отпускал оплеухи вместо ласки: он был гордым и нежным.

IX

Да, и в тот месяц, когда возвращается Прозерпина и воскрешает мертвое сердце Цереры, когда все леса окутаны нежной дымкой, а птицы величиной с молодой листок спуют между поющими деревьями, и когда становится мягче духовитый вар на улицах и мальчишки скатывают из него языком шарики, а их карманы вздуваются волчками и разноцветны-

ми камешками; а по ночам грохочет гром и проносится проливной тысяченогий дождь, и утром из окна видишь бурное небо, все в рваных тучах; и когда мальчишка-горец носит воду своим родным, которые чинят изгородь, и, пока ветер змеей пробирается в траве, слышит, как внизу в долине раздается длинный вопль гудка и слабо доносится звон колокола; и огромная синяя чаша гор кажется совсем близкой, потому что услышано неясное обещание, – тогда его пронзила весна, этот острый нож.

И жизнь сбрасывает свою побуревшую старую кожу, и земля источает нежную неистощимую силу, и чаша человеческого сердца до краев наполнена бессрочным ожиданием, бессловесным обещанием, неопределимым желанием. Что-то накапливается в горле, что-то слепит его глаза, и сквозь толщу земли звучат дальние доблестные трубы.

Маленькие девочки с аккуратными косичками чинно и послушно торопятся в школу; но юные боги медлят: они слышат тростниковую флейту, переливы свирели, перестук козых копыт³² в набухшем лесу, тут, там и всюду, – они останавливаются, слушают, особенно стремительные именно тогда, когда ждут, а потом рассеянно бредут к единственному назначенному им дому, потому что земля полна извечного ропота и они не находят пути. Все боги утратили этот путь.

³² ...они слышат тростниковую флейту... перестук козых копыт. – Атрибутом древнегреческого бога полей и лесов Пана была тростниковая флейта; Пан и соответствующее ему римское божество Фавн изображались козлоногими.

Но то, что у них было, они оберегали от варваров. Юджин, Макс и Гарри правили своим небольшим мирком и его окрестностями. Они вели войну с неграми и евреями, которые их забавляли, и с обитателями Поросячьего тупика, которых они ненавидели и презирали. Они по-кошачьи крались в многообещающем вечернем сумраке, а иногда сидели на заборе в возбуждающем свете уличного фонаря, который выбрасывал венчик пылающего газа и время от времени шумно подмигивал.

Или, скорчившись в густых кустах под гантовской изгородью, они выжидали появления какой-нибудь влюбленной негритянской парочки, и когда их жертвы на пути домой начинали подниматься по склону, тянули бечевку, выволакивая на дорогу набитый чулок, похожий на черную змею. И темнота содрогалась от хохота, потому что громкие звучные смешные голоса вдруг запинались; смолкали и начинали визжать.

Или они бросали камни в черного мальчишку-посыльного, когда он, ловко повернув велосипед, въезжал в проулок. Но они не питали ко всем ним ни малейшей ненависти: черный цвет – цвет клоунов. И они знали, что обычай и приличия требуют колотить этих людей добродушно, осыпать их ругательствами весело и кормить щедро. Люди снисходительны к верному, виляющему хвостом псу, но ему не следует заводить привычку разгуливать постоянно на двух но-

гах. Они знали, что не должны «давать черномазым спуску» и что положить конец возражениям проще всего с помощью дубинки и проломленной головы. Да только разве черномазому голову проломишь!

Они радостно плевали в евреев. Топи еврея, бей негра.

Они подстерегали евреев и шли за ними по пятам, выкрикивая: «Гусиный жир! Гусиный жир!» – в полном убеждении, что семиты в основном питаются именно гусиным жиром; или же с той слепой и неколебимой верой, с какой маленькие мальчишки усваивают традиционные, изуродованные или воображаемые оскорбительные словечки, они вопили вслед своей замученной, что-то сердито бормочущей жертве: «Овешмир! Овешмир!» – не сомневаясь, что эторугательство, непереносимое для еврейского слуха.

Юджина погромы не интересовали, но у Макса это было настоящей манией. Главной мишенью их издевательств был мальчишка с пройдошливой физиономией, которого звали Айзек Липинский. Они по-кошачьи бросались на него, стоило ему появиться, и гнали его по проулкам, через заборы, по дворам в сараи, в конюшни и в его собственный дом – он увертывался от них с невероятной быстротой и ловкостью, ускользал у них прямо из рук, провоцировал их на погоню, показывал им нос и постоянно ухмылялся широко и глумливо.

Или, проникнутые кошачьей ночной злокозненностью, они блуждали по исполненным смутных обещаний сосед-

ским улицам, бесшумно подбирались к еврейскому дому и, свившись в хихикающий клубок, слушали звучные возбужденные голоса и гортанные восклицания женщин, или хохотали до колик, когда раздражалась одна из тех истерических ссор, которые почти ежевечерне сотрясали стены еврейских домов.

Однажды, захлебываясь от смеха, они долго бежали по улице вслед за дерущимися на ходу молодым евреем и его тестем – то тесть бил зятя и гнался за ним, то зять в свою очередь бил и преследовал тестя. А в тот день, когда Луис Гринберг, бледный студент-еврей, покончил с собой, выпив карболовой кислоты, они стояли, глаза, перед убогой горюющей лачужкой, и внезапно их охватило злорадное веселье – они увидели, что его отец, бородатый правоверный старик еврей в порыжелом засаленном черном сюртуке и помятом ветхом котелке, бежит вверх по склону к своему дому, машет руками и ритмично причитает:

Ой-ой-ой-ой-ой,
Ой-ой-ой-ой-ой,
Ой-ой-ой-ой-ой!

Но белоголовых детей Поросячьего тупика они ненавидели без всякого добродушия, самой жестокой, ничем не смягчаемой отчуждающей ненавистью. Поросячий тупик был грязным проселком, который уходил вниз по склону от нижнего конца Вудсон-стрит и кончался как-то неопределенно в

резкой вони тинистого гниющего болотца. По одну сторону ухабистой дороги тянулся неровный ряд беленых лачужек, в которых жила белая беднота, – тамошние дети почти все были белобрысыми, а костлявые нюхающие табак женщины и жующие табак мужчины тупо восседали в солнечной вони на шатких дощатых крылечках. По вечерам в темном нутре лачуг уныло помаргивали коптящие лампочки, пахло чем-то жарящимся и грязными телами, надрывно бранились женщины, в пьяном бешенстве рычали мужчины – визг и проклятие, проклятие и визг.

Как-то раз, в пору созревания вишен, когда «белая восковка» Ганта была вся усыпана ягодами и по ее гибким и крепким ветвям расселись соседские дети – евреи и христиане попеременно, – которые под начальством Люка обрывали вишни, получая в свою пользу четверть того, что успевали собрать, во двор нерешительно, с унылой опаской вошел один из этих белобрысых мальчишек.

– Давай-давай, сынок, – крикнул своим ласковым голосом пятнадцатилетний Люк. – Бери корзину и лезь сюда.

Мальчишка кошкой вскарабкался по липкому стволу. Юджин раскачивался на тонкой верхней ветке, наслаждаясь своей легкостью, надежной упругостью дерева и всем огромным, по-утреннему ясным, душистым миром заднего двора. Тупиковый наполнил корзинку с невероятной быстротой, ловко соскользнул на землю, высыпал вишни в таз и уже снова карабкался по стволу, когда через двор к нему устреми-

лась его тощая мать.

– Эй, Риз! – пронзительно крикнула она. – Ты чего тут делаешь?

Она свирепо сдернула его на землю и полоснула прутом по загорелым икрам. Он завопил.

– А ну, иди домой! – распорядилась она, снова стегнув его прутом.

Она гнала его перед собой, сердито и хрипло выговаривая ему и время от времени стегая, когда в отчаянии он пытался из гордости замедлить свое унижительное отступление или упрямо останавливался совсем, – но прут опускался на его короткие ноги, и он с воплем опять убыстрял шаг.

Мальчишки на ветках хихикали, но Юджин, который успел увидеть страдание на изможденном суровом лице женщины, яростную жалость в ее сверкающих глазах, вдруг почувствовал, что в нем что-то лопнуло с пронзительной болью и вскрылось, как нарыв.

– Он не взял своих вишен, – сказал он брату.

Или они дразнили Лони Шайтл, от которой несло затхлостью, когда она проходила мимо в широкополой шляпе с перьями на грязных тускло-рыжих волосах, в грязных белых чулках с продранными пятками. Она когда-то вызвала кровосмесительное соперничество между своим отцом и братом, на шее у нее бугрился шрам, оставленный бритвой ее матери, и она шла походкой больной, широко расставляя негнущиеся ноги в стоптанных башмаках.

Однажды, когда они сомкнулись вокруг захваченного врасплох оборвыша из Поросячьего тупика и он медленно, боязливо, злобно вжался в вонючую стену, Уилли Айзекс, младший брат Макса, ткнул в него пальцем и сказал с хихиканьем:

– Его мать берет стирку.

А затем, перегнувшись почти пополам от небывалого взлета остроумия, добавил:

– Его мать берет стирку от старого негра.

Гарри Таркинтон хрипло захохотал. Юджин уставился в никуда, судорожно вывернул шею и резко оторвал одну ногу от земли.

– Нет, не берет! – неожиданно крикнул он им в недоумевающие лица. – Не берет!

Родители Гарри Таркинтонна были англичане. Он был года на три-четыре старше Юджина – неуклюжий плотный силач, от которого всегда пахло красками и олифой его отца, с грубым лицом, мясистым срезанным подбородком и насморочно опухшим носом и губами. Он был крушителем видений, инспиратором грязных делишек. Как-то на закате, когда они болтали, лежа в прохладной, густой вечерней траве гантовского двора, он вдребезги и навеки разбил чары Рождества; но взамен он принес запах краски, туманный запахок тупого разврата, ничем не украшенную, потную, лишенную образов страсть пошляков. Однако Юджин не смог воспринять эту страсть задворок – ему помешали сильная вонь курятника,

таркинтоновский запах краски и гадостный гнилостный запах, который прятался под грязным мусором заднего двора.

Как-то под вечер, когда они с Гарри шарили по нежилому верхнему этажу дома Ганта, они нашли полупустой флакон восстановителя для волос.

– У тебя есть волосы на животе? – спросил Гарри.

Юджин неопределенно хмыкнул, робко намекнул на большую мохнатость, признался. Они расстегнули пуговицы, растерли маслянистыми ладонями животы и несколько упорительных дней ждали появления золотого руна.

– Волосы делают человека мужчиной, – сказал Гарри.

По мере того как расцветала весна, он теперь все чаще ходил в мастерскую Ганта на площади. Он любил площадь: яркое, остуженное горами солнце; колышущуюся завесу брызг над фонтаном; разговорчивых пожарных, очнувшихся от зимнего оцепенения; ломовиков, лениво растянувшихся на деревянных ступеньках мастерской его отца, ловко хлопающих кнутами по тротуару, затевающих тяжеловесную возню; Жаннадо за грязным засиженным мухами стеклом, сосредоточенно изучающего через лупу распахнутое брюшко часов; сыроватую обомшелость фантастического кирпичного сарая Ганта; пыльную огромность переднего помещения, осевшего под могильными памятниками, – там теснились маленькие полированные плиты из Джорджии, громоздкие безобразные глыбы вермонтского гранита, скромные надгробья с

урной, херувимом или лежащим агнцем, внушительные засиженные мухами ангелы из Каррары, которых Гант купил за большие деньги и так и не продал, потому что они были радостью его сердца.

За деревянной перегородкой была его умывальная, занесенная каменной пылью, грубые деревянные козлы, на которых он высекал надписи, полки для инструментов, заполненные резцами, сверлами и деревянными молотками, ножное корундовое колесо, которое Юджин яростно крутил часами, наслаждаясь его нарастающим ревом, сваленные друг на друга плиты песчаника для оснований, железная закопченная печурка, кучи угля и дров.

Между мастерской и складом, слева от входа, находилась контора Ганта, утопавшая в пыли, накопившейся за двадцать лет, со старомодным письменным столом, перевязанными пачками грязных документов, кожаным диваном и еще одним небольшим столом, на котором лежали круглые и квадратные образчики гранитов и мраморов. Грязное, никогда не открывавшееся окно выходило на пологую рыночную площадь, которая под косым углом отпочковывалась от Главной площади и была заставлена фургонами деревенских торговцев и ломовыми телегами; дальше виднелись лачуги белой бедноты, а еще дальше – склад и контора Уилла Пентленда.

Когда Юджин входил, его отец стоял, беззаботно навалившись на шаткую грязную витрину Жаннадо или на скрипучий барьерчик, отмечавший границу владений часовщика,

и говорил о политике, о войне, о смерти, о голоде, понося демократов со ссылками на скверную погоду, налоги и благотворительные кухни, которые сопутствовали их пребыванию у власти, и восхваляя все действия, высказывания и начинания Теодора Рузвельта³³. Жаннадо, педантично рассудительный, по-швейцарски гортанный, преклоняющийся перед статистикой, во всех спорных случаях прибегал к помощи своей библиотеки – растрепанного экземпляра «Всемирного альманаха» трехлетней давности и, полистав его грязным пальцем, через секунду торжествующе объявлял: «А! Как я и думал: муниципальное налоговое обложение в Милуоки при демократическом правительстве в тысяча девятьсот пятом году составляло два доллара двадцать пять центов на сто и было самым низким за многие годы. Не могу понять, почему здесь не приведена общая цифра». И он принимался воодушевленно спорить, ковыряя в носу черными тупыми пальцами, а по его широкому желтому лицу разбегались дряблые складки, когда он гортанно смеялся над нелогичностью Ганта.

«И помяните мое слово, – продолжал Гант, как будто его не перебивали и он не слышал никаких возражений, – если они опять победят на выборах, мы все будем есть благоотво-

³³ *Рузвельт Теодор (1858–1919)* – американский политический деятель. Принадлежал к республиканской партии. В 1897–1898 годах – помощник морского министра. С 1901-го по 1909 год президент США. Проводил империалистическую политику «большой дубинки». В период его президентства США захватили зону Панамского канала и оккупировали Кубу.

рительный супчик, банки начнут лопаться один за другим, а ваши кишки еще до конца зимы прилипнут к становому хребту».

Или же он заставлял отца в мастерской – склонившись над козлами, он легко и точно бил тяжелым деревянным молотком по резцу, который его рука уверенно вела по лабиринту надписи. Гант никогда не носил рабочей одежды; он работал в тщательно вычищенном костюме из тяжелого черного сукна и только снимал сюртук, заменяя его широким и длинным полосатым фартуком. И, глядя на него, Юджин чувствовал, что перед ним не простой ремесленник, а художник, безошибочно выбирающий инструменты для создания шедевра.

«Во всем мире никто не умеет делать это лучше, чем он», – думал Юджин, в нем на миг вспыхивало его темное воображение, и он думал, что труд его отца пребудет вечным – в людском летоисчислении, – и когда этот огромный скелет рассыплется в прах под землей, на многих и многих забытых, заросших кладбищах, в гуще буйных кустов и бурьяна, эти буквы все еще будут сохраняться такими же, как сейчас.

И он с жалостью думал обо всех бакалейщиках, и пивоварах, и суконщиках, которые были и сгинули, а их бранный труд исчез с забытым экскрементом или сгнившей тряпкой; о водопроводчиках, вроде отца Макса, чей труд ржавеет в земле, или о малярах, вроде отца Гарри, чей труд осыпается со сменой времен года или исчезает под другой, более свежей и яркой краской. И великий страх смерти и забвения,

разложения жизни, памяти и желаний в гигантском кладбище земли бурей пронесился через его сердце. Он оплакивал всех тех, кто исчез бесследно, потому что не выбил своего имени на скале, не выжег своего знака на утесе, не отыскал чего-то непреходящего и не высек на нем какого-нибудь символа, какой-нибудь эмблемы, чтобы хоть в чем-нибудь оставить память о себе.

А иногда, когда Юджин входил, Гант, заложив руки за спину, бешеным шагом расхаживал по мастерской, иступленно мечась между рядами ее мраморных стражей, и что-то зловеще бормотал то громче, то тише. Юджин ждал. Вскоре Гант, пройдясь так по мастерской раз восемьдесят, с яростным воплем кидался ко входной двери, выскакивал на крыльцо и обрушивал свою иеремиаду на возмущивших его ломовиков.

— Вы низшие из низших, подлеишие из подлых! Вы вшивые никчемные бездельники, вы обрекли меня на голодную смерть, вы отпугиваете заказчиков и лишили меня даже той малой работы, которая обеспечила бы меня хлебом и избавила бы от нужды. Клянусь богом, я вас ненавижу, потому что вы воняете на целую милю! Вы жалкие дегенераты, проклятые разбойники! Вы украдете медяки с глаз покойника, как украли с моих, ужасные и кровожадные горные свиньи!

Он кидался назад в мастерскую только для того, чтобы сразу же снова выйти на крыльцо с притворным спокойствием, которое вскоре разрешалось воплем:

– Слушайте, что я вам говорю: предупреждаю вас раз и навсегда. Если я опять увижу вас на моем крыльце, я вас всех упрячу за решетку!

Тогда они начинали расходиться к своим телегам, пощелкивая кнутами по тротуару.

– И чего это старик взбеленился?

Час спустя, точно басисто жужжащие мухи, они снова рассаживались на широких ступеньках, появляясь неизвестно откуда.

Когда Гант выходил из мастерской на площадь, они весело и даже с нежностью приветствовали его:

– Наше вам, мистер Гант!

– Прощайте, ребята, – отвечал он добродушно и рассеянно и уходил прочь своим размашистым голодным шагом.

Когда появлялся Юджин, Гант, если он работал, бросал короткое: «Здорово, сын!» – и продолжал полировать мраморную плиту пемзой и водой. Кончив, он снимал фартук, надевал сюртук и говорил томившемуся в ожидании мальчику:

– Ну, идем. Наверное, пить хочешь.

И они, перейдя площадь, вступали в прохладные глубины аптеки, останавливались перед опаловым великолепием фонтанчика под вращающимися деревянными лопастями вентиляторов и пили ледяные газированные напитки – лимонад, такой холодный, что ломило в висках, или пенящуюся крем-соду, которая резкими восхитительными толчками

врывалась в его нежные ноздри.

После этого Юджин, разбогатев на двадцать пять центов, покидал Ганта и остаток дня проводил в библиотеке на площади. Теперь он читал быстро и легко; он с алчной жадностью поглощал романтические повести и приключенческие романы. Дома он пожирал пятицентовые книжки, которыми были забиты полки Люка; он с головой погружался в еженедельные приключения «Юного Дальнего Запада», по вечерам в постели фантазировал о платоническом и героическом знакомстве с прекрасной Ариэттой, вместе с Ником Картером³⁴ рыскал по лабиринту преступного мира больших городов, разделял спортивные триумфы Фрэнка Мерриуэлла, подвиги Фреда Фирнота и бесконечные победы «Бойцов свободы семьдесят шестого года» над ненавистными красномундирниками³⁵.

Вначале любовь интересовала его меньше, чем материальный успех: картонные фигуры женщин в книгах, предназначенных для чтения подростков, – нечто с волосами, шаловливым взглядом, незыблемой добродетелью, всевозможными достоинствами и безупречной пустотой, – полностью его удовлетворяли. Эти женщины были наградой за героизм,

³⁴ *Ник Картер* – сыщик, герой бульварно-детективных романов американского писателя Ф. Дея (1861–1922), выходивших отдельными выпусками. Эти романы Дей писал под псевдонимом «Ник Картер».

³⁵ ...победы «Бойцов свободы семьдесят шестого года» над ненавистными красномундирниками. – Американская Война за независимость началась в 1776 году. В ту эпоху английские солдаты носили красные мундиры.

тем, что в последний миг бывало вырвано из лап злодея с помощью меткого выстрела или сокрушительного удара в челюсть, а потом – вместе с солидным доходом – знаменовало свершение всех желаний.

В библиотеке Юджин опустошал полки юношеской литературы, неумоимо устремляясь вперед по бесконечному однообразию произведений Горацио Олджера³⁶ – «Стойкость и удача», «Терпение и труд», «Упорство», «Подопечный Джека», «Джед из сиротского приюта» и еще десятков других. Он упивался обогащениями героев этих книг (эта тема литературы для подростков постоянно всеми игнорируется). Уловки фортуны – вывороченный рельс, вовремя остановленный поезд и щедрая награда за героизм, или пухлый бумажник, найденный и возвращенный владельцу, или бесцененные акции, внезапно приносящие колоссальные дивиденды, или обретение богатого покровителя в большом городе – все они так глубоко внедрились в его желания, что впоследствии ему никак не удавалось совсем от них избавиться.

Он выискивал все подробности, касавшиеся денег: когда бесчестный опекун и его негодяй сын присваивали имение, он подсчитывал, какой оно приносило ежегодный доход, а если эта сумма называлась в книге, делил ее на месяцы и недели и смаковал ее покупательную способность. Его желания не отличались скромностью – состояние менее четверти

³⁶ *Горацио Олджер (1832–1899)* – американский священник, автор нравоучительных повестей.

миллиона его не удовлетворяло: он чувствовал, что ежегодный доход в шесть процентов с капитала в сто тысяч долларов обрекает человека на скудное существование, а если награда за добродетель составляла всего двадцать тысяч долларов, он испытывал горькое разочарование при мысли о превратностях жизни.

Он наладил постоянный обмен книгами со своими товарищами, беря и давая их почитать по сложной системе, которая охватывала и Макса Айзекса, и «Проныру» Шмидта, сына мясника, обладателя всех захватывающих приключений «Юных путешественников»; он обшаривал книжные полки Ганта и читал переводы «Илиады» и «Одиссеи» одновременно с «Бубновым Диком», «Буффало Биллом» и творениями Олджера – и по той же причине. Затем, когда первые детские годы ушли в небытие и эротические устремления обрели более осознанную форму, он с жадностью накинулся на романтическую литературу, выискивая женщин, в чьих жилах бежала горячая кровь, чье дыхание было благоуханным, а нежное прикосновение обжигало огнем.

И, грабя тесно уставленные полки, он накрепко увяз в гротескной нелепости протестантской беллетристики, раздающей награды Диониса верным ученикам Жана Кальвина³⁷, которые сладострастно пыhtят и молятся в одно и то же вре-

³⁷ Жан Кальвин (1509–1564) – основоположник кальвинизма, протестантского вероучения, отличавшегося крайней суровостью и нетерпимостью. Кальвин, в частности, запрещал развлечения, танцы, ношение яркой одежды и т. п.

мя, ограждают древо наслаждений огнями алтаря и в священном браке распутствуют, как ни с одной языческой развратницей.

Да, размышлял он, он вкусит от пирога наслаждений – но это будет свадебный пирог. Он хотел быть добродетельным человеком и собирался возвысить своей любовью только Девственницу; жениться он был намерен только на чистой женщине. Это, как он вычитал из своих книг, вовсе не означало отказа от восторгов плоти, так как добродетельные женщины физически были наиболее привлекательны.

Незаметно для себя он узнал то, что поклонник изысканной чувственности узнает гораздо позже ценой утомительных трудов, – что самое большое наслаждение можно получить только при строгом подчинении условностям. Он верил в законы маленькой общины со всей страстностью ребенка – взвесь всех воскресных пресвитерианских проповедей, осаживаясь в его душе, оказала свое воздействие.

Он погрешал себя в плоти тысяч литературных персонажей, проецируя своих любимых героев за пределы их книги в жизнь, разворачивая их знамена в серой реальности, видя себя воинствующим молодым священником, который выступает на бой против трущоб вопреки враждебности своей денежной церкви, в час величайшего испытания находит помощь у прелестной дочери миллионера – владельца этих трущоб, и в конце концов одерживает победу на благо богу, беднякам и себе.

...Они молча стояли в огромном центральном нефе опустевшей церкви Св. Фомы. Где-то в глубине огромного храма тонкие пальцы старого Майкла тихо нажимали клавиши органа. Последние лучи заходящего солнца золотым снопом падали из западных окон, и на мгновение их сияние, словно благословение, коснулось усталого лица Мейнуоринга.

– Я уезжаю, – сказал он наконец.

– Уезжаете? – прошептала она. – Куда?

Орган зазвучал громче.

– Туда, – он коротким жестом указал на запад. – Туда, чтобы трудиться на Его ниве.

– Уезжаете? – Она не смогла скрыть дрожи в голосе. – Уезжаете? Один?

Он печально улыбнулся. Солнце зашло. Сгущающийся сумрак скрыл предательскую влагу, навернувшуюся на его серые глаза.

– Да, один, – ответил он. – Разве не в одиночестве девятнадцать веков назад вступил на свой путь Тот, кто был более велик, чем я?

– Один? Один? – У нее вырвалось рыдание.

– Но прежде чем уехать, – помолчав, продолжал он голосом, которому тщетно пытался придать твердость, – я хотел бы сказать вам...

Он умолк, пытаясь совладать со своими чувствами.

– Что? – прошептала она.

– ...что я никогда не забуду вас, чудесный ребенок. Никогда!

Он резко повернулся, собираясь уйти, но его остановил вырвавшийся у нее крик:

– Нет, вы поедете не один! Не один!

Он обернулся как подстреленный.

– О чем вы говорите? О чем? – хрипло вскричал он.

– О, неужели вы не видите? Поймите же, поймите! – Она умоляюще протянула к нему свои маленькие ручки, и голос ее пресекся.

– Грейс! Грейс! Это правда?

– Глупенький! Милый, слепой, смешной мальчик! Неужели вы не замечали, что все это время... с той самой минуты, когда я услышала, как вы проповедовали перед бедняками Мэрфи-стрит?..

Он прижал ее к себе в яростном объятии; ее тоненькая фигурка покорно прильнула к нему, округлые руки нежно скользнули по его широким плечам, сомкнулись на его шее и привлекли к ней его темнокудрую голову, а он запечатлевал жадные поцелуи на ее закрытых глазах, на ее алебастровом горле, на лепестках ее полураскрытых, свежих, юных губ.

– Не один, – прошептала она. – Вечно вместе.

– Вечно, – ответил он торжественно. – Клянусь именем божьим.

Органная музыка гремела теперь под сводами хвалебным благодарственным гимном, наполняя огромную темную цер-

ковь звуками радости. И по морщинистым щекам старого Майкла, вкладывавшего в эту музыку всю свою душу, катились слезы, но он счастливо улыбался сквозь эти слезы, глядя тускнеющими глазами на два юных существа, вновь разыгрывающих извечную сказку юности и любви, и шептал:

– Аз есмь³⁸ воскресение и жизнь, Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний...

Юджин посмотрел мокрыми глазами на свет, который лился в окно библиотеки, быстро замигал, сглотнул и изо всех сил высморкался. Да! О да!

...Шайка туземцев, убедившихся, что им больше нечего опасаться, и разъяренных понесенными потерями, начала медленно подбираться к подножию утеса во главе с Тао-ми, который, пританцовывая от бешенства, уродливый, как демон, благодаря боевой раскраске, подбадривал остальных, понукал их визгливым голосом.

Гленденнинг, еще раз оглядев пустые патронные сумки, негромко выругался, а потом взглянул вниз, на беснующуюся орду, и с мрачной решимостью вложил два последних патрона в барабан своего кольта.

– Для нас? – спросила она негромко.

Он кивнул.

– Это конец? – прошептала она тихо, но бесстрашно.

³⁸ *Аз есмь...* – Соединение двух цитат из Евангелия (Ин. 11:25, и Откр. 22:13).

Он вновь кивнул и на мгновение отвернулся. Потом он вновь обратился к ней посеревшее лицо.

– Это смерть, Вероника, – глухо произнес он. – И теперь я могу сказать все.

– Я слушаю, Брюс, – ответила она еле слышно.

Впервые она назвала его по имени, и его сердце исполнилось восторга.

– Я люблю вас, Вероника, – сказал он. – Я полюбил вас в тот самый миг, когда нашел на берегу ваше бесчувственное тело, я любил вас все те ночи, которые провел перед вашей палаткой, прислушиваясь к вашему спокойному дыханию внутри нее, и я люблю вас теперь, в этот час нашей смерти, которая освобождает меня от долга, предписывавшего мне молчание.

– Милый, милый! – прошептала она, и он увидел, что ее лицо влажно от слез. – Почему вы молчали? Я полюбила вас с первого взгляда.

Она прильнула к нему, полуоткрыв трепетные губы, дыша неровно и прерывисто, и когда его обнаженные руки сомкнулись вокруг нее в яростном объятии, их губы встретились на один бесконечный миг блаженства, последний миг жизни и экстаза, в котором так долго сдерживаемое томление обрело свободу и триумф, – теперь, в торжествующий миг их смерти.

Далекий громовой раскат сотряс воздух. Гленденнинг быстро поднял голову и от удивления даже протер глаза. Там,

в маленькой бухте острова, медленно поворачивался узкий борт эскадренного миноносца, и пока Гленденнинг глядел, над этим бортом вновь взметнулся язычок дымного пламени и пятидюймовая граната разорвалась в сорока ядрах от того места, где остановились туземцы. С воплем, в котором страх мешался с обманутой кровожадностью, они повернулись и бросились бежать к своим пирогам. А от борта миноносца уже отвалила шлюпка, и brave матросы в синей форме начали быстро грести к берегу.

– Спасены! Мы спасены! – вскричал Гленденнинг и, вскочив на ноги, замахал приближающейся шлюпке.

Внезапно он опустил руки и пробормотал:

– Проклятье! О, проклятье!

– Что случилось, Брюс? – спросила она.

Он ответил ей холодным жестким голосом:

– В бухту вошел эскадренный миноносец. Мы спасены, мисс Муллинс. Спасены! – И он засмеялся горьким смехом.

– Брюс! Милый! Что случилось? Вы не рады? Почему вы так странно себя ведете? Ведь теперь мы всю жизнь будем вместе!

– Вместе? – повторил он с холодным смехом. – О нет, мисс Муллинс. Я знаю свое место. Или, по-вашему, старик Дж. Т. Муллинс позволит своей дочери выйти замуж за Брюса Гленденнинга, международного бродягу, перепробовавшего все профессии и не преуспевшего ни в одной? О нет! Все это кончено, и нам остается проститься. Вероятно, – до-

бавил он с вымученной улыбкой, – вскоре я услышу о вашем бракосочетании с каким-нибудь герцогом, или лордом, или еще с каким-нибудь иностранцем. Что же, прощайте, мисс Муллинс. Желаю вам счастья. Каждый из нас теперь, конечно, пойдет своим путем.

Он отвернулся.

– Глупый мальчик! Милый, гадкий, смешной мальчик! – Она обняла его за шею, крепко прижала к себе и нежно попеняла ему: – Или, по-вашему, я позволю вам теперь уйти?

– Вероника! – еле выговорил он. – Это правда?

Она хотела взглянуть в его полные обожания глаза и не смогла, жаркая волна розового румянца залила ее щеки, он восторженно притянул ее к себе, и во второй раз – но теперь уже обещанием вечной и полной радости жизни впереди – их губы слились, и все кругом перестало существовать...

О-о! О-о! Сердце Юджина было полно радости и грусти – грусти, что книга дочитана. Он достал слипшийся носовой платок и высморкнул в него все содержимое своего переполненного сердца одним могучим, торжествующим, ликующим трубным звуком, в котором слились слава и любовь. О-о! Старина Брюс-Юджин!

Фантазия уносила его в горный внутренний мир, и он быстро и бесследно стирал все грязные мазки жизни: он вел благородное существование в героическом мире среди прелестных и добродетельных созданий. Он видел себя в возвы-

щенной сцене с Бесси Барнс – ее чистые глаза были полны слез, ее нежные губы трепетали от желания; он чувствовал крепкое рукопожатие Честного Джека, ее брата, его неколебимую верность, глубокий вечный союз их мужественных душ, все время, пока они молча смотрели друг на друга затуманившимися глазами и думали о дружбе, выкованной в горниле опасностей, о скачке бок о бок сквозь ужас и смерть, побратавшей их без слов, но навек.

У Юджина было два желания, которые есть у каждого мужчины: он хотел быть любимым, и он хотел быть знаменитым. Его слава менялась, как хамелеон, но ее плоды и сладость всегда были тут, дома, среди жителей Алтамонта. Горный городок в его глазах обладал неизмеримой важностью; с детским эгоизмом он считал его центром земли, маленьким, но могучим средоточием всей жизни. Он видел себя в блеске наполеоновских побед – со своими отборными неустрашимыми солдатами он, как гром небесный, обрушивался на вражеский фланг, тесня, круша, уничтожая. Он видел себя молодым капитаном промышленности – властным, победоносным, богатым; видел знаменитым адвокатом, силой неотразимого красноречия зачаровывающим суд, – но всегда он видел, как возвращается из дальних странствий домой, с лавровым венком всемирного восхищения на скромном челе.

Мир – это была призрачная колдовская страна там, за туманной каемкой гор, страна великих потрясений, садов,

охраняемых джиннами, пурпуровых морей, буйных сказочных городов, откуда он с золотой добычей вернется в это осязаемое сердце жизни, в свой родной город.

Он упивался пленительной щекоткой искушений и сохранял свою распаленную честь незапятнанной, подвергнув ее самым неотразимым соблазнам холеной красоты жены богача – ее публично унижил зверь-муж, а Брюс-Юджин защитил ее, и теперь ее влек к нему весь чистый пыл ее одинокого женского сердца и она изливала его сочувственному слуху печальную повесть своей жизни над хрусталем богатого, уставленного канделябрами, но интимного стола. И когда в уютном полусвете она в томлении подходила к нему в облегающем платье из богатого бархата, он мягко разнимал округлые руки, которые обвивали его шею, и отстранял льнувшее к нему упругое пышное тело. Или это была златокудрая принцесса на мифических Балканах³⁹, императрица игрушечной страны и оловянных солдатиков – в великолепной сцене у границы он не соглашался, чтобы она отреклась от короны, и пил вечное прощание с ее алых уст, однако предлагал ей свою руку и гражданство в стране свободы, когда революция уравнивала их.

Но, обедааясь древними вымыслами, где не осуждалась

³⁹ ...на мифических Балканах. – Во многих английских и американских приключенческих романах начала XX века действие разворачивалось в вымышленных государствах, которые довольно часто помещались на Балканский полуостров.

ни воля к деянию, ни само деяние, он среди золотых лугов или в зеленом древесном свете растрачивал себя на языческую любовь. Ах, быть царем⁴⁰ и увидеть, как пьянящая широкобедрая иудеянка купается на кровле своего дома, и овладеть ею; или бароном в замке на утесе осуществлять le droit de seigneur⁴¹ над отборными крепостными женами и девами в огромном зале, полном воя ветра и освещенном бешеной пляской огня на тяжелых поленьях.

И еще чаще, ибо желание вдребезги разбивало скорлупу его нравственности, он мысленно разыгрывал непристойную школьную легенду и представлял себе бурный роман, который завязывался между ним и красивой учительницей. В четвертом классе его учила молодая, неопытная, но хорошо сложенная женщина с морковными волосами и беззаботным смехом.

Он видел себя уже достигшим поры зрелости – сильным, бесстрашным, блистательно умным юношей, единственным пылающим факелом в деревенской школе среди кривоzubых детей и великовозрастных олухов. И с наступлением золотой осени ее интерес к нему усилится, она начнет оставлять его после уроков за выдуманные проступки и, с некоторым

⁴⁰ Ах, *быть царем...* – Согласно библейской легенде, царь Давид с кровли царского дворца увидел купающуюся красавицу Вирсавию, жену военачальника Урии, и велел слугам привести ее к нему. Затем он тайно приказал поставить Урию в самое опасное место. Урия был убит, и Давид женился на Вирсавии (2Цар. XI).

⁴¹ Право первой ночи (*франц.*).

смущением усадив его решать задачи, сама будет пристально глядеть на него большими жаждущими глазами, думая, что он этого не замечает.

Он притворится, что запутался в вычислениях, и она поспешно подойдет и сядет рядом с ним так, что прядка рыжих волос будет щекотать ему ноздри, а он ощутит упругую теплоту ее плеча под белой блузкой и изгиб обтянутого юбкой бедра. Она будет подробно объяснять ему задачу и теплой, слегка влажной рукой подведет его пальцы к месту, которого он притворно не сумеет найти в учебнике; а потом она мягко поберит его и скажет нежно:

– Почему ты такой нехороший мальчик?

Или ласково-ласково:

– Ведь ты теперь справишься?

А он, разыгрывая мальчишескую косноязычную застенчивость, ответит:

– Да я что, мисс Эдит, я ничего.

А позже, когда золотое солнце покраснеет на закате и в классе не останется ничего, кроме запаха мела и густого жужжания поздних октябрьских мух, они приготовятся уйти. Когда он небрежно натянет пальто, она поберит его, подзовет к себе, расправит лацканы и галстук и пригладит растрепанные волосы, сказав:

– Ты красивый мальчик. Наверное, все девочки с ума по тебе сходят.

Он по-девичьи покраснеет, а она с тревожным любопыт-

ством будет настаивать:

– Ну-ка, скажи! Кто твоя девушка?

– У меня нет девушки, мисс Эдит. Честное слово.

– Да и ни к чему тебе эти глупые девчонки, Юджин, – скажет она вкрадчиво. – Ты слишком хорош для них – ты гораздо старше своих лет. Тебе нужно понимание, которое может дать тебе только взрослая женщина.

И они выйдут из школы в лучах заходящего солнца, пойдут вдоль опушки соснового бора по тропе, усыпанной красными кленовыми листьями, мимо огромных тыкв, созревающих в поле, в пьяном золотом запахе осенней хурмы.

Она будет жить одна с матерью, глухой старушкой, в маленьком домике, укрытом от дороги порослью поющих сосен, с величественными дубами и кленами в усыпанном листьями дворе.

Прежде чем они доберутся до домика через поле, им надо будет перелезть через изгородь: он перескочит первым и поможет ей, пылко глядя на изящный изгиб ее длинной, нарочно приоткрытой ноги, обтянутой шелковым чулком.

По мере того как дни будут становиться все короче, они будут возвращаться в темноте или при свете тяжелой низко повисшей осенней луны. Возле леса она будет притворяться испуганной, будет прижиматься к нему и хватать его руку, точно чего-то боится; а потом как-нибудь вечером, когда они дойдут до изгороди, она, смело решив сыграть ва-банк, сделает вид, будто не может спуститься, и он подхватит ее на

руки. А она скажет шепотом:

– Какой ты сильный, Юджин!

И, все еще не выпуская ее, он сдвинет руку ей под колени. И когда он опустит ее на замерзшую комкастую землю, она начнет страстно целовать его, притянет, лаская, к себе и под заиндевевшей хурмой с радостью уступит его девственному и неопытному желанию.

– Этот мальчишка читает книги сотнями, – хвастал Гант по всему городу. – Он уже прочел все, что есть в библиотеке.

– Черт побери, У. О., вам придется сделать из него адвоката. Он просто скроен для этого, – визгливым надтреснутым голосом прокричал майор Лиддел через тротуар и откинулся на спинку своего стула под окнами библиотеки, поглаживая дрожащей рукой седую грязноватую бородку. Он был ветераном.

X

Но этой свободе, этому уединению на печатных страницах, этим мечтам и неограниченному досугу для фантазий скоро пришел конец. И Гант, и Элиза были красноречивыми проповедниками экономической независимости: всех своих сыновей они посылали зарабатывать деньги как можно раньше.

– Это учит мальчика ни от кого не зависеть и полагаться

на себя, – говорил Гант, чувствуя, что где-то уже слышал эти слова.

– Пф! – говорила Элиза. – Это им ничуть не повредит. Если они не научатся трудиться сейчас, то из них выйдут бездельники. А кроме того, они сами зарабатывают себе на карманные расходы.

Последнее, без сомнения, было веским соображением.

А потому все они еще в детстве работали после занятий в школе и на каникулах. К несчастью, ни Элиза, ни Гант не утруждали себя выяснением, в чем заключается работа их детей, и удовлетворялись неопределенной, но утешительной уверенностью, что всякая работа, которая приносит деньги, – это работа честная, почтенная и благотворно влияющая на формирование характера.

К этому времени Бен, угрюмый, молчаливый, одинокий, еще больше замкнулся в своем сердце – он приходил и уходил, и в шумном ссорящемся доме о нем помнили, как о призраке. Каждое утро в три часа, когда его хрупкое несложившееся тело должно было бы еще купаться в глубоком сне, он вставал в свете утренних звезд, бесшумно уходил из спящего дома и шел к утреннему грохоту печатных станков и к запаху типографской краски, которые любил, – шел для того, чтобы начать разноску газет по своему маршруту. Почти без ведома Ганта и Элизы он незаметно бросил школу после восьмого класса, договорился, кроме разноски, еще помогать в типографии и с ожесточенной гордостью жил на свой заработок.

Дома он ночевал, но ел там не больше одного раза в день, возвращаясь вечером размашистой голодной походкой отца, сутуля худые узкие плечи, преждевременно сгорбившиеся от тяжести сумки с газетами, и во всем, и в этом, — до жалости Гант.

Он нес в себе окаменевшее доказательство их трагической вины: он бродил один среди мрака и смерти, где реяли темные ангелы, — и никто не видел его. В три тридцать каждое утро он с полной сумкой сидел среди остальных мальчишек-разносчиков в закускойной, держа в одной руке чашку кофе, а в другой папиросу, и тихо, почти беззвучно смеялся — смеялся стремительными вспышками своего чуткого рта и хмурыми серыми глазами.

В часы, проводимые дома, он был тихо поглощен своей жизнью с Юджином — он играл с ним, иногда давал ему подзатыльники белой жесткой ладонью, и между ними укреплялась тайная связь, надежно отгороженная от жизни остальной семьи, которая была неспособна ее понять. Из своего маленького жалованья он выдавал младшему брату карманные деньги, покупал ему дорогие подарки ко дню его рождения, на Рождество или еще по какому-нибудь особому случаю, — в глубине души его радовало и трогало, что Юджин видит в нем Мецената, а его скудные ресурсы представляются мальчику огромными и неисчерпаемыми. Его заработки, вся история его жизни вне стен дома были секретом, который он ревниво охранял.

– Это никого, кроме меня, не касается. Я же ничего ни у кого из вас не прошу, черт побери, – отвечал он угрюмо и раздраженно, когда Элиза пыталась его расспрашивать.

Его привязанность ко всем ним была хмурой и глубокой: он никогда не забывал дней их рождений и всегда оставлял для виновника торжества какой-нибудь подарок, – небольшой, недорогой, выбранный с самым взыскательным вкусом. Когда они с обычным бурным отсутствием меры принимались изливать свой восторг и расцвечивать благодарность пылкими словами, он рывком отворачивал голову к какому-то воображаемому слушателю и с тихим раздраженным смешком говорил:

– Бога ради! Только послушать!

Быть может, когда Бен, отглаженный, вычищенный, в белом воротничке, косолапо шагал по улицам или бесшумно и беспокойно бродил по дому, его темный ангел плакал, но никто другой этого не видел и никто этого не знал. Он был чужим, и, рыская по дому, он всегда старался найти какой-нибудь вход в жизнь, какую-нибудь потайную дверь – камень, лист, – найти путь к свету и общению. Страсть к родному дому была основой его существа: в этом шумном бестолковом хаосе его угрюмое сдержанное спокойствие было для их нервов успокоительным опиумом; его сноровистые белые руки со спокойной уверенностью исцеляли старые рубцы – осторожно и искусно чинили старую мебель, спокойно хлопотали над замкнувшимся проводом или испорченным штепселем.

– Этот мальчишка – прирожденный инженер по электричеству, – говорил Гант. – Надо бы послать его учиться.

И он живописал романтическую картину преуспевания мистера Чарльза Лиддела (достойного сына старого майора), чьи волшебные познания в электричестве позволяли ему зарабатывать тысячи и содержать своего отца. И он принимался горько попрекать их, размышляя вслух о своих заслугах и о никчемности своих сыновей.

– Другие сыновья покоят своих отцов в старости, а мои – нет! Мои – нет! О господи! Горек будет для меня тот день, когда мне придется зависеть от помощи моего сына. Таркинтон на днях сказал мне, что Рейф с тех пор, как ему стукнуло шестнадцать, дает ему каждую неделю пять долларов за свой стол. Как по-вашему, от моих сыновей я когда-нибудь дожусь такого? А? Нет – прежде ад замерзнет! Но и тогда – нет!

Тут он ссылался на собственное суровое детство: его, говорил он, выгнали из дома зарабатывать себе на жизнь в возрасте, который в зависимости от его настроения колебался от шести до одиннадцати лет. И он сравнивал свою бедность с роскошью, в которой купаются его собственные дети.

– Никто никогда ничего для меня не делал! – вопил он. – А вот для вас все делалось! И какую благодарность я от вас вижу? Вы когда-нибудь думаете о старике, который трудится не покладая рук в холодной мастерской, чтобы у вас была еда и кров? Думаете? Неблагодарность зверя лютого лютей!

Приправленная раскаянием еда мстительно застревала в глотке Юджина.

Юджин был приобщен этике успеха. Просто работать было еще мало, хотя работа и была основой основ; гораздо важнее было зарабатывать деньги – очень много денег, если ему удастся достичь настоящего успеха, и во всяком случае достаточно для того, чтобы «содержать себя». Для Ганта и Элизы это был фундамент всех достоинств. О таком-то или о таком-то они говорили:

– Он не стоит пули, которая его прикончила бы: он никогда не был способен содержать себя.

А затем Элиза (но не Гант) могла добавить:

– У него за душой нет никакой собственности.

И это окончательно покрывало его бесчестьем.

Теперь в свежие весенние утра вопль отца поднимал Юджина с постели в половине седьмого; он спускался в прохладный сад и там с помощью Ганта наполнял корзиночки из-под клубники большими курчавыми листьями салата, редиской, сливами, зелеными яблоками (несколько позднее) и вишнями. Корзиночки складывались в большую корзину, и он отправлялся со своим товаром на улицу, с удовольствием и без труда продавая их по пять-десять центов штука в мире благоуханной утренней стряпни. Он ликующе возвращался домой к завтраку с опустевшей корзиной: ему нравилась эта работа, нравился запах огорода, свежих влажных овощей; он любил романтические творения земли, которые наполняли

его карман звонкими монетками.

Вырученные деньги ему было разрешено оставлять себе, хотя Элиза с раздражающей настойчивостью требовала, чтобы он их не транжирил, а клал в банк – ведь когда-нибудь потом он сможет открыть на них свое дело или купить хороший участок земли. И она купила ему копилку, в которую его пальцы неохотно опускали часть заработков и из которой он извлекал определенное унылое удовольствие, когда время от времени встряхивал ее возле уха и жадно размышлял обо всех восхитительных покупках, запертых от него в этом маленьком тяжелом сундучке с погромыхивающим богатством. Ключ у сундучка был, но хранился он у Элизы.

Однако по мере того, как шли месяцы и его крепенькое детское тело под воздействием каких-то внутренних химических расширительных процессов начало быстро вытягиваться, и он стал хрупким, худым и бледным, но очень высоким для своего возраста, Элиза все чаще повторяла:

– Он уже достаточно вырос, чтобы понемножку работать.

Теперь в месяцы школьных занятий он с вечера четверга и до субботы бегал по улицам, продавая «Сатердей ивнинг пост»⁴², местным распространителем которого был Люк. Эту работу Юджин ненавидел смертельной душевной ненавистью и ожидал наступления четверга с тошным ужасом.

⁴² «Сатердей ивнинг пост» – американский литературный журнал, основанный в 1821 году. В начале XX века пользовался в США огромной популярностью, так как его издатель старательно приспособливал его ко вкусам буржуазной публики.

Люк был распространителем с двенадцати лет, и его коммерческий талант уже получил широкое признание в городе: он приходил с широкой улыбкой, бьющей через край жизнерадостностью, бойким находчивым языком, и в бурном сумасшедшем взрыве энергии весь выплескивался наружу. Он жил только в действии – в нем не было ни одного тайного уголка, ничего укрытого и оберегаемого от посторонних глаз: он питал инстинктивный ужас ко всем формам одиночества.

Больше всего он хотел, чтобы его уважали и любили окружающие, а потребность в любви и уважении родных была у него неутолимой. Слащавые похвалы, сердечность слов и рукопожатий, щедрые изъявления чувств были ему необходимы, как воздух, – у фонтанчика с содовой он настойчиво старался заплатить за всех, приносил домой мороженое для Элизы и сигары для Ганта, и чем больше Гант оповещал всех о его добросердечии, тем сильнее становилась потребность Люка в таком оповещении: он создал свой образ – образ Хорошего Парня, остроумного, щедрого, над которым посмеиваются, но которого все любят, образ Доброго Самоотверженного Люка. И посторонние считали его именно таким.

Много раз в последующие годы, когда карманы Юджина бывали пусты, Люк грубо и нетерпеливо совал в них монету, но как бы отчаянно ни нуждался в деньгах младший брат, это всегда сопровождалось неловкой сценой – робкими, тягостными отказами и гнетущим смущением, потому

что Юджин, интуитивно и правильно разгадав голодную потребность своего брата в благодарности и уважении, мучительно чувствовал, что под натиском властной и неутолимой жажды поступает своей независимостью.

А щедрость Бена никогда не вызывала у него смущения. его отточенное, переразвитое душевное чутье давно подсказало ему, что этот брат может раздраженно обругать его или сердито стукнуть, но зато прошлые одолжения не будут тяготеть над ним, так как Бен стыдится даже мысли о сделанных прежде подарках. В этом он сам походил на Бена: мысль о сделанном подарке, ее самодовольный подтекст заставляли его ежиться от стыда.

Вот так, еще до того как Юджину исполнилось десять лет, его мечтательный дух был пойман в сложную сеть правды и ее подобия. Он не находил слов, не находил ответов для загадок, которые ставили его в тупик и приводили в бешенство, – он обнаруживал, что питает гадливое отвращение к тому, что несло на себе печать добродетели, а то, что считалось благородным, внушало ему скуку и тошный ужас. В восемь лет он вплотную столкнулся с мучительным парадоксом недоброты – доброты, эгоизма – самоотверженности, благородства – низости, и, неспособный ни измерить, ни постигнуть эти глубоко скрытые пружины желаний в душе человека, который ищет всеобщего признания через добродетельное притворство, он томился от сознания собственной греховности.

В нем жила яростная честность, которая властно подчиняла его себе, когда что-то глубоко воздействовало на его сердце или ум. Так, на похоронах какого-нибудь дальнего родственника или знакомого, к которому он не питал ни малейшей привязанности, он испытывал горчайший стыд, если чувствовал, что в лад торжественному бормотанию священника или печальным песнопениям хора его лицо принимает выражение поддельной скорби. И тогда он начинал ерзать, закладывая ногу на ногу, равнодушно поглядывал на потолок или с улыбкой смотрел в окно, пока не замечал, что на него начинают обращать неодобрительное внимание. Тогда он испытывал какое-то мрачное удовлетворение, словно, утратив право на уважение, он утвердил свою жизнь.

Но Люк чувствовал себя в нелепых условностях маленького городка как рыба в воде: он придавал весомое правдоподобие любому притворному изъятию привязанности, горя, жалости, доброжелательства и скромности – не существовало избытка, к которому он не дал бы придачи, и тусклый взор их мирка взирает на него благосклонно.

Он выворачивал себя наизнанку с неистощимой щедростью – он делился собой искренне и от души. В нем не было ни крепко сплетенной сетки, которая могла бы остановить его, ни балансира, ни противовеса, – ему была свойственна гигантская энергия, жадная общительность, стремление бросить свою жизнь в общий котел.

В семье, где одной грубоватой клички хватало, чтобы ис-

черпать все тонкости, Бен именовался просто «тихоней», Люк считался самым добрым и щедрым, а Юджин – «ученым». Большого не требовалось. Самый добрый, у которого ни разу за всю жизнь не хватило силы воли хотя бы на час сосредоточиться над страницами книги или над логикой математического примера, смешно переминался с ноги на ногу, забавно заикался и посвистом заменял застревавшее в горле слово, злясь на задумчивую рассеянность своего младшего брата.

– Ну пошли, сейчас не время мечтать, – заикаясь, говорил он иронически. – Ранняя птичка сыта бывает. Пора уже на улицу.

И хотя упоминание о мечтах было лишь частью аксиоматической мозаики его речи, Юджин был ошарашен и смущен, почувствовав, что тайный мир, который он так боязливо оберегал, теперь разоблачен и сделан мишенью для насмешек. А Люк, страдая из-за своих школьных неудач, убеждал себя, что эти глубокие конвульсии духа, задумчивое отступление в тайный приют, укрытый за таинственной гипнотической властью, которой обладал над Юджином язык, были не просто разновидностью лени (сам он считал работой только то, что стонало под тяжестью или потело от напряжения в пустых словоизлияниях), но к тому же и «эгоистическим» отречением от семьи. Он твердо решил в одиночку занимать трон доброты и добродетели.

Вот так Юджин смутно, но мучительно убеждался, что

другие мальчишки его возраста не только содержали сами себя, но и в течение многих лет окружали роскошью престарелых родителей на свои заработки в качестве инженеров по электричеству, директоров банков или членов конгресса. Собственно говоря, не было такого преувеличения, которого Гант не испробовал бы на своем младшем сыне, — он давно уже заметил, что этот тысячеструнный маленький инструмент отзывается на любую вибрацию чувства, и ему нравилось смотреть, как ребенок морщится, судорожно сглатывает, терзается муками совести. И, накладывая на тарелку мальчика сочные куски мяса, он говорил сентиментально:

— Знаешь ли ты, что на свете найдется немного мальчиков, имеющих столько, сколько имеешь ты? Что с тобой будет, когда твой старый отец умрет? — И он рисовал страшную картину того, как его, холодного и неподвижного, навеки опустят в сырую землю, закопают, забудут, — и ждать этого, намекал он печально, осталось уже недолго.

— Вот тогда ты вспомнишь старика! — говорил он. — О господи! Ведь о воде думают, только когда колодец высыхает! — И он с острым удовольствием наблюдал, как подергивается детское горло, мигают глаза, напрягается, морщится лицо.

— Хоть присягнуть, мистер Гант! — возмущалась Элиза, тоже довольная. — Незачем дразнить ребенка!

А иногда Гант начинал печально говорить о «Маленьком Джимми», безногом маленьком мальчике, который жил за рекой по ту сторону Риверсайда (городского парка) и кото-

рого он часто показывал Юджину, сплетая вокруг него трогательную сказочку о нищете и сиротском приюте, сказочку, ставшую теперь для его сына невыносимо реальной. Когда Юджину было шесть лет, Гант легкомысленно пообещал подарить ему на Рождество пони, ни на секунду не собираясь выполнить это обещание. С приближением Рождества он начал проникновенно говорить о «Маленьком Джимми», о бесчисленных преимуществах, выпавших на долю Юджина, и после отчаянной борьбы с самим собой мальчик нацарапал письмо в Эльфландию с отказом от пони в пользу бедного калеки. Этого Юджин не забыл никогда: даже став взрослым, он вспоминал про басню о «Маленьком Джимми» – без злобы, без обиды, но с мучительной болью из-за этой слепой и бессмысленной растраты чувств, из-за глупой лжи, бездумной нечестности, калечащего тупого обмана.

Люк как попугай повторял все отцовские нравоучения, но убежденно и скучно, без юмора Ганта, без его лукавства, только с его сентиментальностью. Он жил в мире символов, больших, примитивных, аляповато раскрашенных, с надписями: «Папа», «Мама», «Дом», «Семья», «Доброта», «Честность», «Самоотверженность», сделанных из засахарившейся патоки и склеенных липкими каплями сиропа в форме слез.

– Хороший мальчик, – говорили про него соседи.

– Ах, какой прелестный! – говорили дамы, очарованные его заиканием, его находчивостью, его добродушием и

услужливостью.

– Напористый мальчишка. Он далеко пойдет, – говорили все мужчины города.

Люк и хотел, чтобы все считали его напористым и добродушным. Он благоговейно прочитывал все инструкции, которые издательство «Кэртис» рассылало своим агентам-распространителям. Он примеривал к себе различные описания приемов, которыми полагалось способствовать расширению сбыта, – наилучший «подход», наиболее соблазнительный способ извлечения журнала из сумки, воодушевленное изложение его содержания, которое он должен был знать наизубок, основательно проштудировав номер. «Хороший распространитель, – говорилось в инструкции, – должен досконально знать товар, который он продает». Но Люк обходился без такого знания, возмещая его собственными красноречивыми выдумками.

Буквальное восприятие этих инструкций породило еще не виданную манеру продавать печатное слово. Подкрепляемый собственным безграничным нахальством и благочестивыми аксиомами вымогательства, гласившими, что «хороший распространитель не принимает отказа», что он должен «не отставать от потенциального покупателя», даже если его гонят, что он должен «понять психологию клиента», Люк пристраивался сбоку к какому-нибудь ничего не подозревающему прохожему, раскрывал перед его лицом широкие листы «Сатердей ивнинг пост», раздражался бурной ре-

чью, обильно уснащенной заиканием, шуточками, лестью и такой стремительной, что прохожий не мог ни взять журнала, ни отказаться от него, и под ухмылки всех встречных гнал свою жертву по улице, затискивал в угол и брал поспешно протянутые пять центов выкупа.

– Да, сэр, да, сэр! – начинал он звучным голосом, широко шагая, чтобы попасть в ногу «потенциальному покупателю». – Свежий номер «Сатердей ивнинг пост», пять центов, всего пять центов, п-п-покупается еженедельно д-д-двумя миллионами читателей. В этом н-н-номере вы получите восемьдесят шесть страниц ф-фактов и литературных произведений, не говоря уж о рекламных объявлениях. Если вы не умеете ч-ч-читать, то от одних иллюстраций получите удовольствия куда больше, чем на пять центов. На тринадцатой странице мы на этой неделе даем прекрасную статью А-а-айзека Маркоссона, з-з-знаменитого путешественника и политического писателя; на странице двадцать девятой вы найдете рассказ Ирвина Кобба, в-в-величайшего из живущих юмористов, и новый боксерский рассказ Д-д-джека Лондона. Если вы к-к-купите его в книге, он обойдется вам в полтора д-д-доллара.

Кроме этих случайных жертв, у него среди городских обывателей имелась и широкая постоянная клиентура. Энергично и бодро шагая по улице, то и дело здороваясь и лихо отвечая на шуточки, он обращался к ухмыляющимся мужчинам красивым заикающимся тенором, каждого называя но-

вым титулом.

— Полковник, как поживаете! Пожалуйста, майор, новый номер, еще горяченький. Капитан, как делишки?

— Как поживаешь, сынок?

— Лучше некуда, генерал. Разъелся, как щенячье брюхо.

И они закатывались кашляющим краснолицым смехом южан.

— Черт подери, молодец мальчишка. Ну-ка, сынок, дай мне твой проклятый журнальчик. Он мне не нужен, но я его куплю, чтобы тебя послушать.

Он был полон бойких и забористых пошлостей; больше всех в семье он обладал раблезианским нутряным смаком, который бушевал в нем с безграничной энергией, заряжая его язык импровизированными сравнениями и метафорами, достойными Гаргантюа. И в довершение всего он каждую ночь мочился в постель, несмотря на сердитые жалобы Элизы, — это был завершающий штрих его заикающейся, насвистывающей, бодрой, жизнерадостной и комической личности: он был Люком, единственным в своем роде, Люком Несравненным; несмотря на свою болтливую и нервную взбудораженность, он был чрезвычайно симпатичен — и в нем действительно скрывался бездонный колодец привязчивости. Он искал обильной хвалы за свои поступки, но ему была свойственна глубокая подлинная доброта и нежность.

Каждую неделю он собирал по четвергам в маленькой пыльной конторе Ганта ухмыляющуюся толпу мальчишек,

которые покупали у него «Ивнинг пост», и наставлял их, прежде чем послать на улицы:

– Ну как, придумали, что вы будете говорить? Если вы будете сидеть на своих попках, они сами к вам не придут. Придумали заход? Вот ты, как ты за них возьмешься? – Он яростно повернулся к испуганному малюсенькому мальчику. – Отвечай! Отвечай же, ч-ч-черт подери! Нечего лупить на меня глаза. Ха! – Он внезапно разразился идиотским смехом. – Вы только поглядите на эту физию!

Гант ухмылялся, издали вместе с Жаннадо наблюдая за происходящим.

– Ну, ладно-ладно, Христофор Колумб! – добродушно продолжал Люк. – Так что же ты им скажешь, сынок?

Мальчик робко откашлялся:

– Мистер, не хотите ли купить номер «Сатердей ивнинг пост»?

– Сю-сю-сю! – сказал Люк жеманно, и остальные мальчишки захихикали. – Розовые слюнки! И по-твоему, они у тебя что-нибудь купят? Господи, что у тебя в башке вместо мозгов? Хватай их! Не отставай. Не принимай никаких отказов. Не спрашивай их, хотят ли они покупать. Бери их за глотку: «Вот, сэр, свеженькие, прямо из типографии!» О, черт! – возопил он, нетерпеливо взглянув через площадь на часы на здании суда. – Нам надо было выйти уже час назад. Пошли, чего вы стоите? Вот ваши журналы. Сколько возьмешь, еврейчик?

У него работало несколько еврейских мальчишек: они его обожали, и он был к ним очень привязан – ему нравилась их яркость, находчивость, юмор.

– Двадцать.

– Двадцать! – возопил он. – Ах ты лодырь! Т-т-ты возьмишь пятьдесят. Не валяй дурака, ты их все продашь до вечера. Ей-богу, папа, – сказал он входящему Ганту, кивнув на евреев, – тайная вечеря, да и только. Верно? Ладно-ладно, – сказал он, хлопая по заду мальчишку, который наклонился, чтобы взять свою порцию журналов. – Не суй мне ее в лицо.

Они завизжали от смеха.

– Хватайте их! Не отпускайте! – И, смеясь, весь красный от возбуждения, он посылал их на улицы.

Вот к какому роду занятий и к какому методу эксплуатации был теперь приобщен Юджин. Он ненавидел эту работу смертельной и необъяснимой ненавистью, смешанной с отвращением. Что-то в нем болезненно возмущалось при мысли о том, что для продажи своего товара он должен превращаться в назойливого маленького нахала, избавиться от которого можно только ценой покупки журнала. Он изнывал от стыда и унижения, но выполнял свою задачу с отчаянной решимостью – странное кудрявое пылающее существо, которое трусило рядом с изумленным пленником, задрав смуглое сосредоточенное лицо и извергая ураган слов. И прохожие, замороженные этим неожиданным красноречием маленького мальчика, покупали его журналы.

Иногда грузный федеральный судья с отвисающим брюшком, а иногда прокурор или банкир уводили его к себе домой, чтобы показать жене и другим членам семьи, а когда он кончал свою речь, давали ему двадцать пять центов и отсылали. «Нет, только подумать!» – говорили они.

Продав первую порцию в городе, он отправлялся в обход по холмам и лесам у окраин, заходя в туберкулезные санатории, продавая журналы без труда и быстро – «как горячие пирожки», по выражению Люка, – врачам и сиделкам, бледным небритым евреям с тонкими лицами, изможденному распутнику, который по кусочкам сплевывал в чашку сгнившие легкие, красивым молодым женщинам, которые иногда покашливали, но улыбались ему со своих шезлонгов и, расплачиваясь, касались его теплыми нежными руками.

Однажды в горном санатории два молодых ньюйоркца завели его в комнату одного из них, заперли дверь и повалили его на кровать, после чего один из них достал перочинный нож и сообщил ему, что сейчас охолостит его. Это были два молодых человека, которым смертельно надоели горы, захолустный городок и томительный лечебный режим – и много лет спустя ему пришло в голову, что они задумали эту шутку заранее, смаковали ее много дней своей скучной жизни, жили тем волнением и ужасом, которые должны были вызвать в нем. Однако его реакция оказалась куда более бурной, чем они рассчитывали: он обезумел от страха, кричал и дрался как бешеный. Оба они были не сильнее каши, и он вырвался

из их рук, отбиваясь, царапаясь по-тигриному, нанося удары руками и ногами в слепой нарастающей ярости. Его освободила сиделка, которая отперла дверь и вывела его на солнечный свет, а двое молодых туберкулезных больных, обессиленные и перепуганные, остались у себя в комнате. Его мутило от страха и от того, что его кулаки еще хранили ощущение от ударов по их прокаженным телам.

Но в его карманах приятно позвякивали пятицентовые, десятицентовые и двадцатипятицентовые монеты; не чуя под собой ног от усталости, он стоял под сверкающим фонтанчиком и погружал разгоряченное лицо в стакан с ледяным напитком. Иногда он урывал часок от надоевших улиц, уходил в библиотеку и, полный угрызений совести, на время погружался в колдовское забытие. Его бдительный энергичный брат часто застигал его там и гнал работать, насмешками и упреками побуждая его к деятельности.

– Ну-ка, проснись! Ты не в сказочной стране. Иди хватай их!

Лицо Юджина было никудышной маской – в этой темной заводи каждый камешек мысли и чувства оставлял расходящийся круг: его стыд, его отвращение к своим обязанностям были очевидны, как ни старался он скрывать их. Его обвиняли в чванстве, говорили, что «ему не по нутру честная работа», и напоминали, какими благодеяниями его осыпали великодушные родители.

В отчаянии он искал опоры в Бене. Иногда Бен, косола-

по шагая по улицам, встречал младшего брата, разгоряченного, усталого, грязного, с набитой парусиновой сумкой на боку, и, свирепо хмурясь, бранил его за неряшливый вид, а потом вел в закусочную и покупал ему что-нибудь поесть – жирное пенное молоко, горячие бобы в масле, пышный яблочный пирог.

И Бен, и Юджин оба были по натуре аристократы. Юджин только теперь начал ощущать свое положение в обществе – вернее, его отсутствие. Бен ощущал это уже давно. Исходное чувство могло бы свестись к потребности в общении с элегантными и красивыми женщинами, но ни тот, ни другой не был способен и не посмел бы признаться в этом, а Юджин был не в силах признаться, что его больно задевает его кастовая неполноценность; ведь любой намек, что элегантное общество предпочтительнее фамильярного мирка всех этих Таркинтонов и их неуклюжих дочек, семья встретила бы тяжеловесными насмешками, как новое доказательство недемократичного чванства. Его тут же обозвали бы «мистером Вандербильтом» и «принцем Уэльским».

Бен, однако, не был запуган их ханжеским самодовольством; их хвастливая болтовня его не обманывала. Он видел их с жестокой ясностью, отвечал на их заносчивость негромким ироническим смешком и быстрым движением головы вверх и вбок – кивком своему вечному спутнику, которому он адресовал все свои замечания, своему темному насмешливому ангелу: «Бог мой! Только послушать!»

Что-то крившееся за его сумрачными спокойными глазами, что-то чужое, яростное и бескомпромиссное страшило их, а к тому же он обеспечил себе ту свободу, которую они ценили выше всего – экономическую свободу, – и он говорил то, что думал, отвечая на их добродетельные упреки яростным тихим презрением.

Однажды он стоял перед камином, распространяя запах никотина, и угрюмо хмурился на Юджина, который вскинул на плечо тяжелую сумку и, чумазый и растрепанный, направился к двери.

– Ну-ка подойди сюда, бродяжка, – сказал он. – Когда ты в последний раз мыл руки? – Яростно хмурясь, он вдруг замахнулся, словно собираясь ударить мальчика, но вместо этого перевязал ему галстук жесткими изящными пальцами.

– Бога ради, мама, – раздраженно бросил он Элизе, – неужели ты не можешь дать ему чистую рубашку? Ему следовало бы менять их каждый месяц.

– То есть как? То есть как? – сказала Элиза с комической торопливостью, отрываясь от корзины с носками, которые она штопала. – Я дала ему свежую рубашку в прошлый вторник.

– Уличный хулиган, – проворчал он, глядя на Юджина с яростной болью в глазах. – Мама, ради всего святого, почему ты не пошлешь его к парикмахеру остричь эти вшивые космы? Я сам заплачу, если тебе жалко денег.

Она сердито поджала губы и продолжала штопать носки.

Юджин поглядел на него с немой благодарностью. После того как Юджин ушел, Тихоня несколько минут угрюмо курил, длинными затяжками загоняя душистый дым в свои узкие легкие. Элиза, обиженно вспоминая его слова, продолжала штопать носки.

– Что ты делаешь с малышом, мама? – после некоторого молчания сказал он жестким спокойным голосом. – Ты хочешь, чтобы он стал бродягой?

– То есть как? То есть как?

– По-твоему, хорошо, что он шляется по улице со всеми малолетними хулиганами?

– Я не понимаю, о чем ты говоришь, – раздраженно сказала она. – Нет ничего зазорного в том, что мальчик честно поработает, и никто так не думает.

– Бог мой, – сказал он темному ангелу. – Только послушать!

Элиза поджала губы и ничего не ответила.

– Гордость предшествует падению⁴³, – сказала она потом. – Гордость предшествует падению.

– На мой взгляд, нас это не касается, – сказал он. – Падать нам некуда.

– Я не считаю себя хуже кого-нибудь, – объявила она с достоинством. – И с кем угодно держусь как с ровней.

– Бог мой! – сказал Бен своему ангелу. – Тебе ведь не с кем держаться. Что-то я не видел, чтобы твои почтенные братья

⁴³ Гордость предшествует падению – цитата из Библии, Прит, 16:18.

или их жены навещали тебя.

Это была правда – и ранящая правда. Элиза поджала губы.

– Нет, мама, – продолжал он после паузы, – ни ты, ни старик никогда не интересовались, чем мы занимаемся, если на этом, по вашему мнению, можно было сэкономить цент-другой.

– Я не понимаю, о чем ты говоришь, – ответила она. – Ты говоришь так, словно мы богачи. Нищим выбирать не приходится.

– Бог мой! – горько засмеялся он. – Вы со стариком любите изображать из себя неимущих, но у тебя полный чулок денег.

– Я не понимаю, на что ты намекаешь! – сказала она сердито.

– Нет! – после угрюмой паузы начал он со своего обычного отрицания. – Сколько людей в городе, у которых нет и пятой доли того, что есть у нас, а получают они от этого вдвое больше. У нас у всех никогда ничего не было, но я не могу смотреть, как малыш превращается в уличного мальчишку.

Наступило долгое молчание. Элиза сердито штопала носок, то и дело поджимая губы, балансируя на грани между спокойствием и слезами.

– Не думала я, – сказала она после длинной паузы, и на ее губах затрепетала горькая обиженная улыбка, – не думала я, что когда-нибудь услышу от собственного сына такие слова. Поберегись, – грозно намекнула она, – грядет день расчета.

И его не избежать. Не избежать. И тебе втройне воздается за твое противоестественное, – ее голос перешел в слезливый шепот, – за твое противоестественное поведение!

Она легко начинала плакать.

– Бог мой! – ответил Бен, поворачивая худое, серое, горькое шишковатое лицо к своему слушающему ангелу. – Нет, только послушать!

XI

Элиза видела Алтамонт не как совокупность стольких-то холмов, зданий и людей, она видела его как гигантский земельный план. Она знала историю каждого ценного участка и дома: кто его купил, кто его продал, кому он принадлежал в 1893 году и что он стоит теперь. Она внимательно наблюдала за приливами и отливами уличного движения в разные часы дня, она знала точно, через какие именно перекрестки проходит больше всего людей за сутки или за час; она чутко замечала любую болезнь роста молодого города, измеряла из года в год его рост во всех направлениях и выводила из всего этого наиболее вероятное направление его будущего расширения. Она критически оценивала расстояния, немедленно обнаруживала, что там-то и там-то избранный путь к центру неоправданно извилист, и, проводя взглядом прямую линию сквозь дома и участки, говорила:

– Тут когда-нибудь пройдет улица.

Ее представление о земле и населении было ясным, конкретным и простым, в нем не было ничего научного, но мощь и прямолинейность его были поразительны. Инстинкт подсказывал ей покупать дешево там, куда потом придут люди, — не в закоулках и тупиках, а на улице, ведущей к центру, на улице, которая потом будет удлиняться.

И ее мысли сосредоточились на «Диксиленде». Он находился в пяти минутах ходьбы от Главной площади, на тихой крутой улочке, где в небольших домах или в пансионах жили люди среднего достатка. «Диксиленд» представлял собой большой дешевый деревянный дом, состоявший из восемнадцати-двадцати наполненных сквозняками комнат с высокими потолками. Вид у него был бесформенный, расплзшийся и хаотичный, цвет — грязно-желтый. Приятный зеленый двор, обсаженный молодыми крепкими кленами, был не очень широким, но зато длинным. Сторона участка, выходящая на улицу, составляла сто двадцать футов, а вниз по косягу он тянулся на сто девяносто футов. Элиза, повернувшись к центру города, сказала:

— Вон там, сзади, когда-нибудь проведут улицу.

Зимой ветер воющими порывами забирался под юбки «Диксиленда» — задняя часть дома была приподнята над землей и опиралась на мокрые столбы из выщербленного кирпича. Его большие комнаты обогревались с помощью небольшой топки, которая, когда в ней разводили огонь, наполняла комнаты первого этажа сухим расслабляющим жаром, а в

верхние посылая жидкое негреющее излучение.

Дом продавался. Его владельца, пожилого джентльмена с лошадиным лицом, звали преподобный Веллингтон Ходж, — он удачно начал жизнь в Алтамонте в качестве методистского проповедника, но попал в беду, когда к служению Богу Войнств присоединил еще и служение Джону Ячменное Зерно: его евангелическая карьера оборвалась в одну темную зимнюю ночь, когда улицы безмолвствовали в густых хлопьях валящего снега. Веллингтон в одном теплом нижнем белье выбежал из «Диксиленда» в два часа утра, совершил безумный марафонский бег по городским улицам, провозглашая пришествие царствия божия и изгнание сатаны, и закончил его, задыхаясь, но ликуя, на ступенях почтамта. С тех пор он с помощью жены добывал скудное пропитание, открыв пансион. Теперь его силы истощились, он был опозорен, и город стал ему невыносим.

Кроме того, стены «Диксиленда» внушали ему ужас: он чувствовал, что своим падением обязан зловещему влиянию дома. Он был впечатлителен, и многие места в его владениях стали для него запретными: угол длинной веранды, где однажды на заре повесился кто-то из его жильцов, половина в холле, где упал чахоточный, у которого из горла хлынула кровь, комната, где перерезал себе глотку старик. Он хотел вернуться в родные края, в страну быстрых лошадей, гнущейся под ветром травы и хорошего виски — в Кентукки. Он был готов продать «Диксиленд».

Элиза поджимала губы все более и более задумчиво и все чаще и чаще, отправляясь в город, шла по Спринг-стрит.

– Этот участок когда-нибудь будет стоить дорого, – сказала она Ганту.

Он не стал возражать. Внезапно он ощутил невозможность противостоять неумолимому, неуголимому желанию.

– Ты хочешь его купить? – спросил он.

Она несколько раз поджала губы.

– Это выгодная покупка, – сказала она.

– Вы никогда об этом не пожалеете, У. О., – сказал Дик Гаджер, агент по продаже недвижимости.

– Это ее дом, Дик, – устало сказал Гант. – Составьте документы на ее имя.

Элиза посмотрела на него.

– Я до конца моих дней не хочу больше иметь дела ни с какой недвижимостью, – сказал Гант. – Это проклятие и вечные заботы, а в конце концов все отойдет сборщику налогов.

Элиза поджала губы и кивнула.

Она купила «Диксиленд» за семь тысяч пятьсот долларов. У нее были деньги на первый взнос в полторы тысячи долларов; остальную сумму она обязалась выплатить частями – по полторы тысячи в год. Она понимала, что эти деньги ей придется набирать из того, что будет приносить сам дом.

В начале осени, когда клены еще стояли густые и зеленые, а перелетные ласточки наполняли кроны деревьев шумом таинственной возни и по вечерам черным смерчем, несущим-

ся воронкой вперед, стремительно сыпались в облюбованную трубу, точно сухие листья, Элиза перебралась в «Диксиленд». Эта покупка вызвала в семье вопли, волнения, острое любопытство, но никто не отдавал себе ясного отчета, что, собственно, произошло. Гант и Элиза, хотя оба про себя понимали, что их жизнь приблизилась к какому-то решающему рубежу, говорили о своих планах неопределенно, «Диксиленд» уклончиво называли «удачным помещением капитала» и ничего толком не объясняли. Собственно говоря, неизбежность расставания они ощущали лишь инстинктивно. Жизнь Элизы, подчиняясь полуслепому, неодолимому тяготению, устремлялась к желанной цели — она не сумела бы определить, что именно собирается предпринять, но ею владело глубокое убеждение, что неосознанная потребность, которая привела ее в Сент-Луисе только к смерти и горю, на этот раз направляет ее на правильный путь. Ее жизнь была поставлена на рельсы.

И хотя они как будто совсем не готовились к этому полному разрыву их совместной жизни, к выкорчевыванию всех корней их шумного общего дома, тем не менее, когда настал час расставания, элементы сами собой распались на отдельные группы решительно и бесповоротно.

Элиза забрала Юджина с собой. Он был последним звеном, связывавшим ее со всей томительной жизнью кормлений и колыбелей; он все еще спал с ней в одной постели. Она была подобна пловцу, который, бросаясь в темное бур-

ное море, не вполне полагается на свои силы и судьбу, а потому обвязывается тонкой бечевкой, чтобы не утратить связи с сушей.

Сказано не было почти ничего, но Хелен осталась с Гантом, так, словно это было предрешиено издревле и навеки.

Дейзи должна была скоро выйти замуж; за ней ухаживал высокий бритый пожилой страховой агент, который носил гетры, безупречно накрахмаленные воротнички пятидюймовой высоты, говорил с воркующей сумасшедшей елейностью и время от времени мягко подхикивал где-то в глубине горла без всякой на то причины. Его звали мистер Маккиссем; после длительной пылкой осады она собралась с духом и отказала ему, про себя считая его душевнобольным.

Она дала согласие молодому уроженцу Южной Каролины, который имел какое-то неясное отношение к бакалейной торговле. Его волосы были разделены пробором на середине низкого лба, голос у него был мягкий, напевный, ласковый, манера держаться – добродушная и развязная, привычки – немелочные и щедрые. Когда он приходил с визитом, то приносил Ганту сигары, а мальчикам – большие коробки конфет. Все чувствовали, что его ждет хорошее будущее.

Что касается остальных – Бена и Люка, – то они остались висеть в неопределенности; Стив же с восемнадцати лет месяцами не жил дома и вел полубродяжническое существование, пробавляясь случайными заработками и мелкими подделками отцовской подписи в Новом Орлеане, Джексонвил-

ле, Мемфисе; к своим расстроенным родным он возвращался лишь изредка, после длительных перерывов, присылая телеграмму с сообщением, что он тяжело болен, или же с помощью какого-нибудь приятеля, который для этого случая присваивал себе титул «доктора» — что он при смерти и вернется домой в гробу, если только они сами не заберут его изможденную плоть, пока дух еще ее не покинул.

Вот так Юджин, когда ему не исполнилось и восьми лет, приобрел второй кров и навсегда утратил буйный, несчастливый, теплый домашний очаг. Изо дня в день он не знал заранее, где найдет еду, приют и ночлег, хотя и не сомневался, что найдет их. Он ел там, где снимал шапку, — либо у Ганта, либо у матери; порой, хотя довольно редко, он спал с Люком в задней грубо побеленной мансарде с косым потолком и множеством альковов — туда попадали по крутой высокой лестнице с кухонного крыльца, и запах старых книг, сложенных в сундуках, мешался там с приятными плодовыми запахами. Там стояли две кровати; он наслаждался непривычной возможностью располагаться на целом матрасе и мечтал о том дне, когда за ним будет признано право на мужскую самостоятельность. Но Элиза редко позволяла ему ночевать там: он был впаян в ее плоть.

Забывая о нем в дневных хлопотах, вечером она звонила по телефону, требовала, чтобы он немедленно возвращался в «Диксиленд», и бранила Хелен за то, что она удерж-

живает его у себя. Между Элизой и ее дочерью шла из-за него ожесточенная скрытая борьба: поглощенная «Диксилендом», Элиза раз в несколько дней вдруг вспоминала, что его опять не было за обедом, и сердито требовала его по телефону обратно.

– Боже мой, мама, – раздраженно отвечала Хелен. – Он твой сын, а не мой. Но я не собираюсь смотреть, как он голодает.

– То есть как? То есть как? Он убежал, когда обед уже стоял на столе. Я приготовила ему хороший ужин. Хм! Хороший!

Он стоял возле Хелен, по-кошачьи настороженный, готовый захихикать, а она закрывала трубку рукой и строила ему гримасу, передразнивая пентлендовские интонации, манеру жевать слова.

– Хм! Право, детка, да... это хороший суп.

Он изгибался в беззвучном хохоте.

А она говорила в трубку:

– Ну, об этом ты должна думать, а не я. Если ему не хочется там оставаться, я-то что могу сделать?

Когда он возвращался в «Диксиленд», Элиза расспрашивала его горько подергивающимися губами; она язвила его жгучую гордость, лишь бы он остался при ней.

– С чего это ты вот так бегаешь в отцовский дом? Мне бы на твоём месте гордость не позволила. Мне бы сты-ыдно было! – Ее лицо подергивалось горькой оскорбленной улыб-

кой. — Хелен некогда с тобой возиться. Она не хочет, чтобы ты там околачивался.

Но властное очарование гантовского дома, его прихотливые затейливые пристройки, его мужской запах, его пышные переплетающиеся лозы, его огромные деревья в янтаре смолы, его ревушая жаркая надежность, его пошедший пузырями лак, нагретая телячья кожа, уют и изобилие без труда выманивали Юджина из огромного холодного склепа «Диксиленда», особенно зимой, потому что Элиза всячески экономила уголь.

Гант уже окрестил его «Сараем»; и теперь по утрам после плотного завтрака он отправлялся голодными шагами в город той дорогой, которая вела через Спринг-стрит, и по пути сочинял инвективы, прежде приберегавшиеся для его гостиной. Он размашисто пересекал широкий холодный холл «Диксиленда» и набрасывался на Элизу, готовившую с помощью двух-трех негритянок завтрак для голодных постояльцев, которые в ожидании энергично покачивались на веранде в креслах-качалках. Все возражения, вся брань, не высказанные тогда, когда она покупала «Диксиленд», обрушивались на нее теперь.

— Женщина, ты покинула мою постель и стол, ты сделала из меня всеобщее посмешище и бросила своих детей погибать. Ты дьяволица и на все готова, лишь бы мучить, унижать и позорить меня. Ты бросила меня в старости одного; ты покинула меня умирать в одиночестве. О господи! Горек

был для нас всех тот день, когда твои алчные глаза впервые остановились на этом проклятом, этом мерзком, этом убийственном и сатанинском Сарае. Нет подлости, которой ты не совершила бы, если она может принести тебе медный грош. Ты пала так низко, что твои родные братья тебя сторонятся. «Не знал падения такого ни зверь, ни человек!»

И в кладовках, над плитой, в столовой слышались звучные смешки негритянок.

– Ох, и горазд же он говорить!

Элиза плохо ладила с негритянками. Она питала к ним все недоверие и неприязнь, на какие только способны горцы. К тому же она не привыкла пользоваться чужими услугами и не умела ни принимать их, ни распоряжаться ими как следует. Она непрерывно пилила и ругала насупленных темнокожих девушек, терзаемая мыслью, что они раскрадывают ее запасы и ее вещи и без толку тратят время, за которое она им платит. А платила она им неохотно, выдавая их маленькое жалованье по каплям – не больше одной-двух монет за раз, донимая их попреками за лень и глупость.

– Что ты делала все это время? Задние комнаты наверху убрала?

– Нет, мэм, – угрюмо отвечала негритянка и, шлепая подошвами, проходила через кухню.

– Хоть присягнуть! – злобно ворчала Элиза. – Я в жизни не видела такой никудышной черной бездельницы. Не воображай, будто я стану платить тебе за то, что ты тратишь вре-

мя зря.

Так продолжалось весь день напролет. И в результате Элиза нередко бывала вынуждена начинать день без прислуги — накануне вечером девушки уходили, сердито переговариваясь, а утром не приходили. К тому же ее въедливая скаредность стала известна всему Негритянскому кварталу и найти прислугу, которая согласилась бы пойти к ней, с каждым разом становилось все труднее. Проснувшись и обнаружив отсутствие помощниц, она расстроенно бросалась звонить Хелен, сердито рассказывала, что произошло, и просила помочь ей.

— Право, детка, не знаю, как мне быть. Просто шею бы свернула этой черной негодяйке! Бросила меня совсем одну, когда у меня на руках полный дом людей.

— Мама, во имя всего святого, что случилось? Неужели ты не можешь поладить с негритянкой? Другие ладят же! Что они все от тебя бегут?

Но, несмотря на свое раздражение и досаду, Хелен уходила из дома Ганта и шла к матери, чтобы прислуживать за столом с щедрым усердием, с нервным и оживленным добродушием. Всем постояльцам она очень нравилась, они говорили, что она хорошая девушка. Это говорили все. Ей была свойственна большая и нерасчетливая душевная щедрость, властное жизнелюбие, которые истощали ее некрепкое здоровье, малый запас ее сил, так что измученные нервы часто доводили ее до истерических взрывов, а иногда и до полной

физической прострации. Она была ростом почти в шесть футов, у нее были большие кисти и ступни, худые прямые ноги, крупнокостное доброе лицо с длинным полным подбородком, который всегда чуть отвисал, так что открывались верхние зубы с золотыми пломбами. Несмотря на худобу, она не казалась ни угловатой, ни костлявой. Ее лицо было исполнено сердечности и преданной любви; оно бывало чутким, открытым, обиженным, озлобленным, истеричным, а по временам – сияющим и прекрасным.

Выматывать себя полностью, служа другим, было для нее нравственной и физической необходимостью, и так же необходимо ей было получать за это густой поток похвал, но больше всего она нуждалась в том, чтобы чувствовать, что ее усилия остаются неоцененными. Даже в самом начале она приходила почти в исступление, излагая свои обиды, рассказывая повесть своего служения Элизе голосом, который становился резким и истеричным:

– Какой-нибудь пустяк не задастся, и она уже кидается к телефону. А я вовсе не обязана ходить туда и работать, точно негритянка, на шайку постояльцев, которые и платят-то гроши. Ты это понимаешь? Понимаешь?

– Да, – отвечал Юджин, покорно играя роль аудитории.

– Но она скорее умрет, чем признает это. Ты хоть раз слышал, чтобы она мне сказала спасибо? Было мне за все это хотя бы разок сказано... – тут она засмеялась, потому что ее острое чувство юмора на время взяло верх над истерикой, –

было мне хотя бы разок сказано: «Убирайся к черту!»?

– Нет! – взвизгнул Юджин, разражаясь неудержимым идиотским смехом.

– Но право, детка. Хм! Да. Это хороший суп, – сказала Хелен, пуская в ход весь свой сочный комизм.

Он оборвал пуговицу воротничка, расстегнул брюки и катался по полу, захлебываясь от апоплексического хохота.

– Брось! Брось! Ты меня д-д-доконаешь!

– Хм! Право! Да, – продолжала она с ухмылкой, словно добивалась именно этого.

Тем не менее, оставалась Элиза без прислуги или нет, Хелен ежедневно приходила днем прислуживать за обедом, а часто и вечером, когда Гант и мальчишки ужинали у Элизы, а не дома. Она ходила, подчиняясь своему огромному желанию помогать, служить, и еще потому, что это удовлетворяло ее потребность давать больше, чем она получала взамен, и еще потому, что хотя она, как и Гант, издевалась над Сараем и «дешевыми постояльцами», оживление, царившее за столом, стук тарелок, многоголосый гул их разговоров возбуждали и взбадривали ее.

Как Ганту, как Люку, ей требовалось растворение в жизни, в движении, в шуме – она хотела быть центром, занимать всех, быть душой общества. Достаточно было одной просьбы, и она садилась петь для постояльцев, тяжело и правильно ударяя по клавишам плохонького пианино. У нее было сильное, звучное, но жестковатое сопрано и обширный ре-

пертуар романсов, сентиментальных и комических песенок. Юджин навсегда запомнил мягкие прохладные летние вечера, собравшихся постояльцев и «Кто ее теперь целует?» – Гант без конца требовал повторения. Еще она пела «Люби меня, и будет мир моим», «Пока не остынут пустыни пески», «Над тобою дрозд, любимая, поет», «Конец безоблачного дня» и «Оркестр Александера», – последнюю песню Люк, мучая весь дом, разучивал несколько недель, а потом с потрясающим успехом исполнил на вечере «Школьных певцов».

Позже в прохладной тишине Гант, свирепо раскачиваясь в качалке на веранде, начинал длинную речь – его могучий голос далеко разносился по тихой улочке, а постояльцы почти-тельно слушали, замороженные его бурным красноречием, смелыми решениями государственных проблем, пристрастными, но безапелляционными суждениями о текущих событиях:

– ...А что же сделали мы, господа? Мы утопили их флот⁴⁴ в сражении, которое длилось только двадцать минут, Тедди и

⁴⁴ *Мы утопили их флот...* – Имеется в виду испано-американская война 1898 года. Сразу же после ее начала американский флот под командованием адмирала Дьюи (1837–1917) разгромил испанскую эскадру в Манильской бухте (Филиппинские острова); затем испанский флот потерпел решительное поражение в морском бою у берегов Кубы. Тедди – прозвище Теодора Рузвельта (1858–1919), президента США в 1901–1909 гг. Во время испано-американской войны Рузвельт командовал дивизией добровольческой кавалерии, которая в бою у кубинского города Сант-Яго атаковала высоты, занятые главными испанскими силами.

его молодцы взяли под градом шрапнели высоты у Сант-Яго – как вам известно, все кончилось в несколько месяцев. Мы объявили войну, не преследуя никаких корыстных целей; мы вступили в нее потому, что гнет, которому подвергался маленький народ, пробудил негодование народа великого, а потом с великодушием, вполне достойным величайшего народа мира, мы уплатили нашему побежденному врагу двадцать миллионов долларов. О господи! Да, это поистине было великодушно! Вы же не думаете, что какая-нибудь другая нация оказалась бы способна на это?

– Нет, сэр! – решительно отвечали постояльцы.

Они не всегда были согласны с его политическими взглядами – в частности с тем, что Рузвельт был безупречным потомком Юлия Цезаря, Наполеона Бонапарта и Авраама Линкольна, – но чувствовали, что у него замечательная голова и в политике он мог бы пойти далеко.

– Ему бы адвокатом быть, – говорили постояльцы.

А тем временем в эти избранные горы неумолимо проникал внешний мир, как ласковая волна прилива, которая лениво накатывается с поднимающейся водой и отступает в могучее родительское лоно для того лишь, чтобы ее снова швырнуло на берег – и на этот раз дальше.

Примитивные и однобокие рассуждения Элизы строились, в частности, на том, что люди, истомленные пустыней, ищут оазис, что те, кто хочет пить, ищут воду, а те, кто зады-

хается на равнинах, будут искать утешения и облегчения в горах. Ей была свойственна та меткость, которую, после того как все сливы собраны, торжественно называют предвидением.

Улицы, которые всего десять лет назад были рыжей нетронутой глиной, теперь асфальтировались. Стоимость асфальтирования приводила Ганта в бешенство, и он проклял этот край, день своего рождения и темные махинации исчадий сатаны. Но Юджин бежал за полными кипящей смолы котлами на колесах, наблюдал, как гигантский каток – чудовище, давившее его в кошмарах, – дробит в порошок битый камень, и, по мере того как удлинялся пахучий раскатанный язык асфальта, его охватывал все больший восторг.

Время от времени голенастый «Кадиллак», кряхтя цилиндрами, взбирался вверх по холму «Диксиленда». Когда он замирал, Юджин бормотал заклинания, чтобы помочь автомобилю, – это Джим Сойер, молодой щеголь, приезжал за мисс Катлер, питтсбургской красавицей. Он распахивал дверцу в пухлом красном брюхе. Они садились и уезжали.

Иногда, в тех случаях, когда Элиза, проснувшись, обнаруживала, что осталась без прислуги, его посылали в Негритянский квартал на поиски замены. Он рыскал по этому царству рахита, заходя в смрадные лачуги сквозь неторопливое зловоние ручейков помоев и мочи, навещая смрадные подвалы по всему вонючему лабиринту расплзшегося по скло-

ну поселка. В жарких закупоренных темницах их комнат он познал необузданную грацию их распростертых на постели тел, их звучный выразительный смех, их запах – запах тропических джунглей, смешанный с запахом раскаленных сковородок и кипящего белья.

– Вам не нужна работа?

– А ты чей сынок?

– Миссис Элизы Гант.

Молчание. А затем:

– Там, дальше по улице, у мисс Корпенинг одна девушка вроде ищет работу. Пойди поговори с ней.

Элиза ястребиным взором следила, не воруют ли они. Однажды в сопровождении сыщика она обыскала в Негритянском квартале комнату девушки, которая от нее ушла, и обнаружила украденные из «Диксиленда» простыни, полотенца, ложки. Девушка получила два года тюрьмы. Элиза любила прибегать к помощи закона, ей нравился запах и напряженная атмосфера судов. И когда она могла подать на кого-нибудь в суд, она подавала – для нее было большой радостью предъявить кому-нибудь иск. И не меньшей – когда иск предъявляли ей. Она всегда выигрывала дело.

Когда ее постояльцы не платили, она торжествующе захватывала их вещи, и ей особенно нравилось с помощью покорных полицейских ловить их в последнюю минуту на вокзале в глазающем кольце городских подонков.

Юджин стыдился «Диксиленда». И опять боялся выдать

свой стыд. Как и с «Ивнинг пост», он чувствовал себя обделенным, запутавшимся в сетях, пойманным в капкан. Он ненавидел неприличие своей жизни, утрату достоинства и уединения, передачу буйной черни тех четырех стен, которые должны ограждать нас от нее. Он не столько понимал, сколько чувствовал бессмыслицу, путаницу, слепую жестокость их существования – его дух был растянут на дыбе отчаяния и недоумения, ибо он все сильнее убеждался в том, что их жизни нельзя было бы больше изуродовать, изломать, извратить и лишить самого простого покоя, удобства, счастья, даже если бы они сами нарочно запутали клубок и порвали канву. Он задыхался от ярости: он думал о медлительной речи Элизы, о ее манере углубляться в бесконечные воспоминания, о невыносимом поджимании губ, и белел от сдавленного в комок бессильного гнева.

Теперь он уже совершенно ясно видел, что их бедность, нависшая над ними угроза богадельни, жуткие упоминания о могиле для неимущих – все это было бессмысленным мифотворчеством жадного скопидомства; и в нем, как головня, тлел гнев, порожденный их убогой алчностью. У них не было собственного места, не было места, предназначенного только для них, не было места, огражденного от вторжения постояльцев.

По мере того как дом наполнялся, они переходили из комнат в комнатки и в каморки, спускаясь все ниже и ниже по жалкой шкале своих жизней. Он чувствовал, что это причи-

нит им вред, огрубит их: он даже и тогда глубоко верил в хорошую еду, в хорошее жилище, в комфорт, — он чувствовал, что цивилизованный человек начинает именно с этого; он знал, что там, где дух чахнет, он чахнет не из-за хорошей еды и удобств.

Когда в летний сезон дом наполнялся и приходилось ждать, пока не кончат есть постояльцы и для него не очистится место, он угрюмо расхаживал под вознесенной на столбы задней верандой «Диксиленда», злобно исследуя темный подвал и две душные каморки без окон, которые Элиза при случае старалась сдать негритянкам.

Теперь он ощущал всю мелочную жестокость деревенской кастовости. В течение нескольких лет он по воскресеньям мылся, чистился, облакал свое освященное тело в чистое белое и рубашку и отправлялся среди приятной суеты воскресного утра в пресвитерианскую воскресную школу. К этому времени он уже был избавлен от наставлений нескольких старых дев, которые подкрепляли его детскую веру катехизисом, рассказами о благодати божьей и некоторыми сведениями о небесной архитектуре. Пятицентовик, с которым прежде он расставался неохотно, сожалея о потенциальных пирогах и пиве, он отдавал теперь без особых страданий, так как обычно у него оставалось еще достаточно, чтобы насладиться холодным газированным напитком у содового фонтанчика.

Вдыхая свежий воздух воскресного утра, он бодро отправ-

лялся исполнить долг свой у алтарей и останавливался неподалеку от церкви, где стройные ряды учеников военной школы четко разбивались на взводы баптистов, методистов, пресвитериан.

Дети собирались в примыкающем к церкви большом зале, в который справа и слева открывались сотами крошечные классные комнаты, — по ним они расходились, когда кончалась служба. С кафедры к ним взывал директор, дантист-шотландец с черной седеющей бородкой, окаймленной небольшой полоской набальзамированной кожи, — его клетки, ткани и соки, казалось, были раз и навсегда закреплены во вневозрастной неопределенности, так что истекали десятилетия, а он выглядел все таким же.

Он читал очередной стих или притчу, толковал их с царевской сухостью и точностью, а затем передавал ведение службы своему помощнику, тоже шотландцу, бритому и в очках, который с холодной ласковостью улыбался им над высоким глянцевым воротничком и вел их от строфы к строфе псалма, взмахивая руками и ободряюще оскаливая зубы, когда они доходили до припева. Крепкая старая дева барабанила по клавишам пианино, которое дрожало как осиновый лист.

Юджину нравились высокие хрустальные дисканты маленьких детей, поддерживаемые тугой плотностью голосов мальчиков и девочек постарше и опирающиеся на могучий

хор младших и старших баракков и филатейнок⁴⁵. В те утра, когда собирались пожертвования для миссионеров, они пели:

Протяните руку спасения —
Кто-то тонет сегоодня!

И еще они пели:

Соберемся ли мы у реки,
Прекрааасной, прекрааасной реки?

Этот псалом ему чрезвычайно нравился. И величественное нарастание «Вперед, Христовы воины!».

Потом он вместе со своим классом переходил в одну из маленьких комнат. Повсюду вокруг с рокотом смыкались скользящие двери; затем здание заполнялось ровным монотонным жужжанием.

Этот класс Юджина состоял только из мальчиков. Их учителем был высокий белолицый молодой человек, сутулый и худой, про которого всем было известно, что он состоит секретарем местного отделения Христианской ассоциации молодых людей. Он был болен туберкулезом, но мальчики восхищались им за его прежние бейсбольные и баскетбольные подвиги. Он говорил печальным, сладким, хнычущим голо-

⁴⁵ ...баракки и филатейнки – члены религиозных организаций для юношей и девушек.

сом; он был угнетающе похож на Христа; он дружески беседовал с ними о заданном на этот день тексте и спрашивал, какой урок они могут извлечь из него для своей обычной жизни, для того чтобы доказывать делом послушание и любовь к родителям и друзьям, для укрепления в долге, вежливости и христианском милосердии. И он говорил, что, усомнившись, как следует поступить, они должны спрашивать себя, что сказал бы им Иисус, – он часто говорил об Иисусе печальным, чуть недовольным голосом, и Юджину, пока он его слушал, делалось как-то не по себе – ему представлялось что-то мягкое, пушистое, с влажным языком.

Он постоянно находился в состоянии нервного напряжения – все остальные мальчики были близко знакомы между собой, они жили на Монтгомери-стрит или в ее окрестностях, а это была самая фешенебельная улица города. Иногда кто-нибудь говорил ему с усмешкой: «Не хотите ли купить «Сатердей ивнинг пост», мистер?»

В будни Юджин никак не соприкасался с их жизнью, а потому сильно переоценивал их аристократичность. Алтамонт быстро вырос в город из разбросанного по холмам поселка, и таких старинных семей, как Пентленды, в нем было немного; как в большинстве курортных городков, его кастовая система была гибкой до неопределенности и в основном строилась на богатстве, честолюбии и наглости.

Гарри Таркинтон и Макс Айзекс были баптистами, как почти все соседи Ганта, за исключением шотландцев. Бап-

тисты были наиболее многочисленными членами общины – и по социальной шкале они котиrowались невысоко, считаясь простонародьем; их пастырь, крупный пухлый толстяк с красным лицом и в белом жилете, обладал незаурядным красноречием – он ревел на них, аки лев, ворковал, аки голубка, и часто упоминал в проповеди свою жену, чтобы создать атмосферу интимности или вызвать смех, – члены епископальной церкви, занимавшие верх социальной шкалы, и пресвитериане, менее аристократичные, но зато столпы добродетельности, считали это нецеломудренным. Методисты располагались как раз посредине между вульгарностью и декорумом.

Этот накрахмаленный, начищенный мир воскресного пресвитерианства с его степенной порядочностью, ощущением сдержанности, неброского богатства, прочного положения в обществе, размеренной обрядности и замкнутой избранности глубоко действовал на Юджина присущим ему безмятежным покоем. Он остро ощущал свою отъединенность от этого мира, в который он приходил раз в неделю, оставляя позади лязгающую хаотичность собственной жизни, – приходил и смотрел на него, чтобы потом из года в год уходить, тягостно сознавая себя чужим. А мягкий сумрак церкви, мощные звуки отдаленного органа, спокойный гнусавый голос священника-шотландца, бесконечные молитвы и яркие картинки, изображавшие сцены из христианской мифологии, которые он ребенком собирал под руководством

старых дев, — все это помогло ему узнать что-то о боли, о тайне, о чувственной красоте религии, о том, что было глубже и значительнее строгой пресвитерианской добропорядочности.

XII

Приближалась зима, и угрюмое умирание осени ненавистнее всего ему было в «Диксиленде» — тусклые, засиженные мухами лампы; унылые блуждания по дому в поисках тепла; Элиза, неряшливо кутающаяся в старую кофту, в грязный шарф, в старый заношенный сюртук. Она мазала глицерином потрескавшиеся от холода руки. Ледяные стены гноились сыростью — они пили смерть из воздуха; одна из постоялиц умерла от тифа, ее муж быстро вышел в холл и тяжело опустил руки. Они приехали из Огайо.

Наверху, на веранде, служившей спальней, в бесконечной темноте кашлял худой еврей.

— Ради всего святого, мама! — негодовала Хелен. — Зачем ты их пускаешь? Разве ты не видишь, что он заразный?

— Да не-ет, — отвечала Элиза, поджимая губы. — Он сказал, что у него небольшой бронхит. Я его прямо спросила, а он взял да и расхохотался. «Послушайте, миссис Гант», — говорит...

За этим следовала бесконечная история, украшенная множеством выющихся прихотливыми ручьями отступле-

ний. Хелен приходила в бешенство: это была основная черта характера Элизы – слепо защищать то, что приносило ей деньги.

Еврей был добрым человеком. Он осторожно кашлял, загоротившись белой рукой, и ел хлеб, обжаренный в яйце. Юджин пристрастился к этому блюду – он простодушно называл его «еврейским хлебом» и просил добавки. Лихенфелс мягко смеялся и кашлял, а его жена заливалась звонким смуглым смехом. Юджин оказывал ему мелкие услуги, а он давал ему каждую неделю по монете. Он был портным из Нью-Джерси. Весной он перебрался в санаторий и позже умер там.

Зимой немногие простывшие постояльцы, чьи лица, чьи личности из-за постоянных повторений утратили хотя бы проблеск оригинальности, сидели у догорающих углей в гостиной, раскачиваясь и раскачиваясь в качалках, переговаривались скучными голосами, со скучными жестами, – вероятно, «Диксиленд» опротивел им и они сами опротивели себе не меньше, чем опротивели ему.

Он предпочитал лето, когда приезжали медлительно-томные женщины жаркого богатого Юга, темноволосые белокожие девушки из Нового Орлеана, пшеничные блондинки из Джорджии, красавицы из Южной Каролины, говорившие с негритянской оттяжкой. И малярики из Миссисипи, апатичные, чуть желтоватые, но с белыми крепкими зубами. Краснолицый постоялец из Южной Каролины с побуревшими от

никотина пальцами каждый день брал его на бейсбол; тощий, желтый, больной малярией плантатор из Миссисипи лазал с ним на горы и бродил по душистым долинам; вечерами он слышал на темных верандах звонкий грудной смех женщин, нежный и жестокий, слышал сочные рокошующие голоса мужчин; видел уступчивый потайной южный разврат – темное уединение их полуночных тел, их утреннюю ясноглазую невинность. Желание рвало его сердце окровавленным клювом, как ревнивая добродетель: он высоконравственно негодовал на то, в чем ему было отказано.

По утрам он оставался в доме Ганта с Хелен и играл в мяч с Бастером Айзексом, двоюродным братом Макса, веселым толстым малышом, который жил рядом. Позже, привлеченный сладким благоуханием варящейся помадки, он возвращался в дом, и Хелен посылала его в маленькую еврейскую лавочку на той же улице за кислыми приправами, которые очень любила. И, усевшись за стол в разгаре утра, они ели кислые маринады, толстые ломти спелых помидоров, густо намазанные майонезом, пили янтарный процеженный кофе, ели винные ягоды – «ньютон» и «дамские пальчики», горячую духовитую помадку, утыканную грецкими орехами и сдобренную ароматным маслом, бутерброды с нежной грудинкой и огурцами, запивая все это ледяными икотными лимонадами.

Вера Юджина в ее гантовское богатство была безгранична: все эти восхитительные деликатесы брались из неисто-

щими запасов. Куры оживленно и весело кудхтали по всему утреннему кварталу; силачи негры вносили в дом капающие глыбы льда, вытаскивая их железными клещами из дымящихся фургонов; он стоял под их визгливыми пилами и ловил в ладони ледяную кашицу; он впивал смешанный запах их могучих тел и налипшего на лед мусора вместе с резким масляным запахом линолеума в столовой; а днем в гостиной с ореховой, набитой конским волосом мебелью, где мягко и приятно пахло роялем и старым полированным деревом, она играла ему и заставляла его петь «Вильгельма Телля»⁴⁶, «Когда твой голос милый», «Песню без слов», «Celesta Aïda»⁴⁷, «Утраченный аккорд», и ее длинная шея вытягивалась, напрягая сухожилия, и звучный голос рвался наружу.

Она ненасытно радовалась ему, обкармливала его кислым и сладким, в перерывах между непрерывными хлопотами валила его на диван Ганта и крепко держала, шлепая большой ладонью по дергающимся щекам.

Иногда, доведенная до иступления каким-нибудь капризом своих нервов, она злобно набрасывалась на него, полная ненависти к его смуглому задумчивому лицу, к его пухлой выпяченной губе, к его полному растворению в мечтах. Как Люк и Гант, она постоянно искала занятия для свое-

⁴⁶ «Вильгельм Телль» – опера Д. Россини (1792–1868), созданная по одноименной трагедии Ф. Шиллера (1759–1805).

⁴⁷ «Небесная Аида» (итал).

го беспокойного деятельного жизнелюбия; она приходила в ярость, если замечала, что другие погружаются в себя, и по временам она ненавидела его, когда ее собственные струны перенапрягались и она видела его темное лицо, поглощенное книгой или каким-то видением. Она вырывала книгу из его рук, шлепала его и язвила жестоко и беспощадно. Она выпячивала губу, нелепо вертела головой, сгибая шею, изображала на лице тупую идиотичность и изливала на него страшный поток ядовитых слов.

– Ах ты, уродец, шляешься тут как помешанный. Ты вылитый маленький Пентленд – смешной уродец, вот ты кто. Над тобой все смеются. Ты что, этого не знаешь? Не знаешь? Мы тебя будем теперь одевать девочкой. И ходи так. В тебе нет ни капли гантовской крови – папа прямо так и сказал. Ты вылитый Грили; ты помешанный. Пентлендовское полоумие так из тебя и лезет.

Иногда ее жаркая первозданная ярость была так велика, что она валила его на пол и топтала ногами.

Мучительной была не столько физическая боль, сколько ядовитая ненависть, лившаяся с ее языка, дьявольское умение находить самые ранящие слова. Он терял рассудок от ужаса, когда из Эльфландии его внезапно швыряли в ад, он вопил как безумный, когда его щедрый ангел мгновенно превращался в змееволосую фурию, он утрачивал всю свою высокую веру в любовь и доброту. Он кидался на стену, как взбесившийся козленок, бился об нее головой, неистово

визжа, отчаянно желая, чтобы его стиснутое, переполненное сердце разорвалось, чтобы что-то в нем сломалось, чтобы ценной крови он мог вырваться из душной тюрьмы своей жизни.

Это удовлетворяло ее, именно этого в глубине души она и хотела – в своем свирепом нападении на него она обрела очищающее успокоение. И теперь могла до конца опустошить себя в бешеном порыве нежности. Она схватывала его, как он ни кричал и ни вырывался, прижимала к груди длинными руками, покрывала поцелуями его багровые щеки, безумно вытаращенные глаза, успокаивала самой искренней лестью, обращаясь к нему в третьем лице:

– Да неужто он подумал, что я серьезно? Неужто он не понял, что я просто шучу? Ух ты, он силен, как молодой бычок, верно? Настоящий маленький великан, вот он какой. Ух, до чего же он разозлился, верно? У него глаза вот-вот вылезут на лоб. Я уж думала, что он проломит дыру в стене. Да, мэм. Право, да, детка. Это хороший суп, – пускала она в ход свой талант имитации, чтобы рассмешить его. И он против воли смеялся между двумя рыданиями, и эта агония нежности и примирения была даже мучительнее, чем пытка насмешками.

Потом, когда он успокаивался, она посылала его в лавку за маринадом, пирожками, холодным лимонадом в бутылках; он уходил с красными глазами, с грязными полосками слез на щеках, по дороге отчаянно пытаясь понять, почему это произошло, резко вздергивая ногу и конвульсивно выверты-

вая шею, потому что все в нем горело от стыда.

В Хелен жила беспокойная ненависть к скуке, к респектабельности. И все же в душе она была чрезвычайно благопристойным существом, несмотря на свои вульгарные выходы (которые были лишь проявлением ее неумной энергии), очень наивным, детски невинным существом, не разбирающимся даже в безыскусственной греховности маленькой общины. У нее было несколько поклонников, принадлежавших к типу молодых провинциалов, ничем не примечательных и пьющих: один, местный уроженец, худой краснолицый алкоголик, городской землемер, который обожал ее; другой – дюжий румяный блондин из угольного района Теннесси; третий – молодой человек из Южной Каролины, земляк жениха ее старшей сестры.

Эти молодые люди – Хью Паркер, Джим Фелпс и Джо Каткарт – были ей простодушно преданы; им нравилась ее неутомимая властная энергия, ее бойкий язык, ее искренняя и глубокая доброта. Она играла и пела для них – посвящала всю свою энергию тому, чтобы развлечь их. Они приносили ей коробки конфет, маленькие подарки, ревниво огрызались друг на друга, но были единомышленны в утверждении, что она – «замечательная девушка».

А кроме того, Джим Фелпс и Хью Паркер, по ее настоянию, приносили ей виски: она пристрастилась к небольшим порциям спиртного из-за той зарядки, которую ее охваченное лихорадкой тело получало от алкоголя, – маленькой

рюмки было достаточно, чтобы наэлектризовать ее кровь; эти два-три глотка освежали ее, придавали ей энергии, давали ей кратковременную буйную жизнерадостность. И хотя она никогда не пила много за один присест и в ней нельзя было заметить никаких признаков опьянения, кроме прилива жизнерадостности и веселья, она то и дело поклевывала виски.

– Я пью всегда, когда могу, – говорила она.

Ей неизменно нравились молодые прожигательницы жизни. Ей нравилась лихорадочная погоня за удовольствиями, составлявшая смысл их существования, нравилось ощущение опасности, их юмор и щедрость. Ее магнетически влекли замужние распутницы, которые летом весело ускользали в Алтамонт от воскресной дисциплины южных городков и от субботней похоти осоловелых мужей. Ей нравились люди, которые, как она выражалась, «не прочь были иногда немножко выпить».

Ей нравилась Мэри Томас, высокая хорошенькая проститутка, которая приехала из Кентукки, – она работала маникюрщицей в одной из алтамонтских гостиниц.

– Есть две вещи, которые я хотела бы посмотреть, – говорила Мэри. – Петушиный... сами понимаете что, и куриную... как ее там.

Она постоянно громко и настойчиво смеялась. Она снимала маленькую комнату с верандой-спальней на втором этаже. Юджин как-то раз принес ей папиросы – она стояла пе-

ред окном в легкой нижней юбке, широко расставив длинные чувственные ноги, которые были хорошо видны против света.

Хелен брала поносить ее платья, шляпы и шелковые чулки. Иногда они пили вместе. И она с добродушной сентиментальностью защищала Мэри:

– Ну, она не лицемерка. Уж это, во всяком случае, верно. Ей все равно, кто об этом знает.

Или:

– Она ничуть не хуже многих ваших чинных тихонь, только они умеют прятать концы в воду. А она ничего не скрывает.

Или же, раздраженная невысказанным осуждением ее дружбы с этой девушкой, она говорила сердито:

– А что вы о ней знаете? Говорите о людях осторожнее. Не то когда-нибудь наживете себе неприятности.

Тем не менее на людях она старательно избегала Мэри и, вопреки всякой логике, в минуты исступленного раздражения нападала на Элизу:

– Почему ты пускаешь к себе в дом таких людей, мама? Все в городе знают, что она такое. Твой пансион уже слывет в городе домом терпимости.

Элиза сердито поджимала губы.

– Я не обращаю на них никакого внимания, – говорила она. – Я не считаю себя хуже кого бы то ни было. Я держу голову высоко, и пусть все остальные делают то же. Я с ними

не якшаюсь.

Это была часть ее защитного механизма. Она делала вид, будто гордо не замечает никаких неприятных обстоятельств, если это приносило ей деньги. В результате благодаря тому странному неуловимому обмену сведениями, который существует между женщинами легкого поведения, «Диксиленд» приобрел у них известность, и они как бы случайно поселялись там – полупрофессионалки, тайные проститутки курортного города.

Хелен разошлась почти со всеми своими школьными подругами – с трудолюбивой, некрасивой Женевьевой Пратт, дочерью учителя, с «Крошкой» Данкен, с Гертрудой Браун. Теперь ее приятельницами были более веселые, хотя и более вульгарные девушки: Грейс Десей, дочка водопроводчика, пышная блондинка; Пэрл Хайнс, дочь шорника-баптиста, – у нее было тяжелое лицо и тяжелая фигура, но зато она сильным голосом пела модные синкопированные песенки.

Самой близкой ее подругой стала, однако, Нэн Гаджер – быстрая, тоненькая, жизнерадостная девушка с талией, затянутой в корсет так туго, что мужчина мог бы обхватить ее двумя пальцами. Она была доверенным, аккуратным и непогрешимым счетоводом в бакалейном магазине. Почти весь свой заработок она отдавала в семью, состоявшую из матери, на которую Юджин не мог смотреть без дрожи из-за огромного зоба, свисавшего с ее дряблой шеи, калеки сестры, которая передвигалась по дому на костылях, сильными рывка-

ми мощных плеч выбрасывая вперед беспомощное тело, и двух братьев – дюжих молодых хулиганов двадцати и восемнадцати лет, чьи заколдованные тела всегда были покрыты свежими ножевыми ранами, синяками, шишками и другими следами драк в бильярдной и в публичном доме. Они жили в двухэтажной ветхой деревянной лачуге на Клингмен-стрит, и женщины, не жалуясь, работали, чтобы содержать молодых людей. Юджин часто ходил туда с Хелен – ей нравился вульгарный, веселый, полный волнений образ их жизни, и особенно ее забавляли непристойные житейские разговоры Мэри.

Первого числа каждого месяца Нэн и Мэри отдавали братьям часть своего заработка на карманные расходы и для оплаты ежемесячного посещения женщин в Орлином тупике.

– Да не может быть, Мэри! Боже мой! – воскликнула Хелен с жадным недоверием.

– Очень даже может быть, душечка, – с простонародной оттяжкой ответила Мэри, улыбаясь, вытаскивая палочку табака из угла коричневых губ и сжимая ее сильными пальцами. – Мы всегда даем мальчикам раз в месяц деньги на женщин.

– Да нет же! Ты шутишь! – сказала Хелен, смеясь.

– Господи, детка, неужто ты не знаешь? – сказала Мэри, сплевывая в огонь и промахиваясь. – Это же необходимо для здоровья. Они разболеются, если мы не будем давать им де-

нег на это.

Юджин беспомощно повалился на пол. Перед ним сразу развернулась эта поразительная картина добродушия и глубоких суеверий: женщины во имя гигиены и здоровья отдают свои деньги на пьяные дебоши двух ухмыляющихся, волосатых, прокуренных великовозрастных бездельников.

– Над чем это ты смеешься, сынок? – спросила Мэри, тыкая его в ребра, когда он, задыхаясь, вытянулся в полной прострации. – Ты же еще только из пеленок.

Ей была свойственна вся бешеная страстность жителей гор, и, сама калека, она жила грубым жаром похоти своих братьев. Это были примитивные, добрые, невежественные и убийственные люди. Нэн была безупречно респектабельна и благовоспитанна, у нее были толстые вывороченные негритянские губы и заразительный тропический смех. Никуда не годную мебель в их доме она заменила новыми лакированными стульями и столами. В лакированном, всегда запертом книжном шкафу стояли чопорные собрания нечитанных книг – гарвардское издание классиков и дешевая энциклопедия.

Когда миссис Селборн в первый раз приехала в «Диксиленд» с жаркого Юга, ей было только двадцать три года, но выглядела она старше. Она была воплощением зрелой пышности – высокая, плотно сложенная блондинка, холеная и элегантная. Она двигалась неторопливо, покачиваясь с томной чувственностью, улыбка у нее была нежной и исполненной смутного очарования, голос – негромким и приятным,

а неожиданный смех, журчавший в полночной таинственности, – грудным и мелодичным. Она была одной из красивых и вакхических дочерей обедневшего отпрыска видной южнокаролинской семьи. В шестнадцать лет ее выдали замуж за краснолицего грузного мужчину, который быстро и с удовольствием ел за ее несравненным столом, застенчиво и хмуро бормотал что-то, если его к этому принуждали, и уходил в душную, пропахшую кожей и лошадьми контору своей прокатной конюшни. У нее было от него двое детей – две девочки. С тщетной осторожностью она обходила острые углы тихого злословия южнокаролинского фабричного городка, украдкой творя прелюбодеяния с фабрикантом, с банкиром и с владельцем лесопильни; днем она улыбалась своей нежной белокурой улыбкой, тщательно не замечая ехидных улыбок города и лавочников и зная, что земля у нее под ногами заминирована и что приказчики и хозяева посмеиваются, когда слышат ее имя. Местные жители, и особенно мужчины, в обращении с ней даже утрировали ту почтительную любезность, которой обычно окружают женщину в городках Юга, но их глаза за елейной корректностью маски лоснились приглашением.

Когда Юджин впервые увидел ее и узнал про нее, он вдруг почувствовал, что она никогда не попадется и о ней всегда будут знать. Он любил ее отчаянной любовью. Она была живым воплощением его желания – смутная гигантская фигура любви и материнства, нестареющая и осенняя, ждущая,

пшеничноволодая, полногрудая, белокожая, в поре жатвы – Деметра, Елена, зрелая, неистощимая и вечно обновляющаяся энергия, кормилица, баюкающая усталость и разочарование. Над раной, нанесенной острым ножом весны, голосами молоденьких девушек в темноте, острыми зачаточными надеждами юности, горело неугасимым огнем его сокровенное желание – что-то всегда влекло его к женщинам постарше.

Когда миссис Селборн впервые приехала в «Диксиленд», ее старшей дочери было семь лет и младшей – пять. Каждую неделю она получала небольшой чек от мужа и солидный – от владельца лесопилы. Она привезла с собой горничную-негритянку и щедро баловала и ее, и своих дочерей. Эта расточительность, легкость жизни и манящий грудной смех заворовали Хелен, покорили ее.

А по вечерам, когда Юджин прислушивался к негромкому мелодичному голосу миссис Селборн и слышал чувственное журчание ее смеха на темной веранде, где она сидела с каким-нибудь коммивояжером или местным торговцем, он весь проникался горечью ревнивого нравственного возмущения; изнывая от обиды, он думал о ее маленьких спящих дочках и – со страстным братским чувством – о ее обманутом муже. В мечтах он видел себя героем-искупителем – он спасал ее в час грозной опасности, пробуждал в ней раскаяние словами благородного порицания и целомудренно принимал любовь, которую она ему предлагала.

Утром, когда она проходила мимо, он вдыхал плодоносный аромат ее только что выкупанного тела, отчаянно вглядывался в нежную чувственность ее лица и с ощущением нереальности старался представить себе, как меняет темнота эти немые черты.

После года бродяжничества из Нового Орлеана вернулся Стив. Едва он почувствовал, что надежно утвердился дома, вслед за извечным хныканьем вновь заявило о себе прежнее нелепое хвастовство.

– Стиви может и не работать, – говорил он. – У него хватает ума заставлять других работать на себя. – Он с вызовом подразумевал тут подделку подписи Ганта на мелких чеках. Стив видел себя опытным мошенником, хотя у него никогда не хватало духа попробовать свое искусство на ком-нибудь другом, кроме отца. В те дни люди зачитывались историями Уоллингфорда «Богатей-Не-Зевай»⁴⁸ о мгновенно приобретенном богатстве – этот романтический преступник вызывал горячее восхищение.

Стиву перевалило за двадцать. Он был немного выше среднего роста, у него было шишковатое лицо, желтоватая кожа и несильный приятный тенор. Каждый раз, когда его старший брат возвращался, Юджин испытывал отвращение и ужас: он знал, что все бремя визгливой мелочной тирании и непристойных пьяных выходок ляжет на тех, кто физиче-

⁴⁸ Уоллингфорд «Богатей-Не-Зевай» – обаятельный мошенник, действующий в нескольких романах американского писателя Дж. Честера (1869–1924).

ски наименее способен защитить себя, а это включало Элизу и его самого. Физическую боль он еще мог стерпеть, но эта подленькая трусость, слабость и слюнявые примирения были непереносимы.

Однажды Гант, который время от времени пытался подобрать своему сыну какое-нибудь постоянное занятие, послал его установить небольшой памятник на деревенском кладбище. Юджина послали с ним. Стив прилежно трудился под палящим солнцем в течение часа, все больше и больше раздражаясь из-за жары, из-за резкого кладбищенского запаха бурьяна и земли, из-за собственной ненависти к любой работе. Юджин напряженно ждал нападения, которое, как он знал, было неизбежно.

– Чего ты тут стоишь! – взвизгнул наконец Старший Брат, подняв голову в припадке бессильной злобы. Он с силой ударил мальчика по голени тяжелым гаечным ключом, который держал в руке, и свалил его с ног. Тут же он был парализован – не раскаянием, а страхом, что Юджин покалечен серьезно и этого не удастся скрыть.

– Ты не ушибся, братишка? Не ушибся? – спросил он дрожащим голосом, трогая Юджина грязными желтыми руками. И он начал мириться – то, чего Юджин боялся больше всего, – хныча, обдавая ежащегося брата вонючим дыханием, упрасывая ничего не говорить дома о случившемся. Юджина отчаянно затошнило: затхлый запах Стива, липкий нездоровый пот, отдававший никотином, прикоснове-

ние этой нечистой плоти наполняли его гадливым ужасом.

Однако форма и посадка его головы, его развязная походка еще хранили что-то от его погубленной юности – и женщин иногда влекло к нему. Поэтому ему выпала удача стать любовником миссис Селборн в то первое лето, когда она приехала в «Диксиленд». По вечерам ее грудной смех звенел на темной веранде, они гуляли по тихим улицам под шелестящей листвой, они вместе отправлялись в Риверсайд и уходили за полосу праздничных огней на темные песчаные тропинки у реки.

Но когда она подружилась с Хелен, увидела, с каким отращением относятся младшие Ганты к своему брату, и убедилась, сколько вреда ей уже причинила близость с этим хвастуном, который в доказательство своей неотразимости без конца козырял ее именем во всех бильярдных города, она порвала с ним – тихо, неумолимо, нежно. И, возвращаясь в «Диксиленд» каждое лето, она встречала невинной и простодушной улыбкой все его непристойные намеки, его многозначительные угрозы и злобные разоблачения за ее спиной. Ее привязанность к Хелен была искренней, но, кроме того, и стратегически полезной, и она это чувствовала. Девушка знакомила ее с красивыми молодыми людьми, устраивала для нее вечеринки и танцы у Ганта и у Элизы, была практически участницей ее интриг, обеспечивая ей уединение, молчание и темноту, и гневно защищала ее, когда поднимался злорадный шепоток.

– Что вы о ней знаете? Вы не знаете, что она делает. И вы бы говорили про нее поосторожнее. У нее ведь есть муж, который за нее заступится. Вот получите когда-нибудь пулю в лоб.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.